

# ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА», МОСКВА

№ 34 АВГУСТ 1987

**ОКТАБРЬ  
ЗАЩИЩАЕТ  
КУЛЬТУРУ**



**АНАТОЛИЙ ЭФРОС:  
ТРЕБУЕТСЯ  
БЛАГОРОДСТВО**

**БОЛЬШИЕ ГОРОДА**



**СУДЬБА  
МИХАИЛА КОЛЬЦОВА**



**ХУДОЖНИК  
ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ**



**ГАБРИЭЛЬ  
ГАРСИА МАРКЕС:  
«ОТВЕТСТВЕНЕН  
ПЕРЕД  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ»**



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



**ОГОНЕК**

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан

1 апреля

1923 года

№ 34 (3135)

22—29 АВГУСТА

© Издательство «Правда», «Огонек», 1987.

Главный

редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,  
Д. В. БИРЮКОВ,  
Л. Н. ГУЩИН  
(первый заместитель  
главного редактора),  
К. А. ЕЛЮТИН,  
В. П. ЕНИШЕРЛОВ,  
Н. А. ЗЛОБИН,  
Д. К. ИВАНОВ  
(ответственный  
секретарь),  
А. Ю. КОМАРОВ,  
Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,  
В. Д. НИКОЛАЕВ  
(заместитель  
главного редактора),  
Ю. В. НИКУЛИН,  
А. Г. ПАНЧЕНКО,  
А. Б. СТУКОВ,  
С. Н. ФЕДОРОВ,  
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес. (См. в номере материал «Доведите дело до конца».)

Фото Павла КРИВЦОВА

Оформление Е. М. КАЗАКОВА  
при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммунистического воспитания — 251-89-93; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформление — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

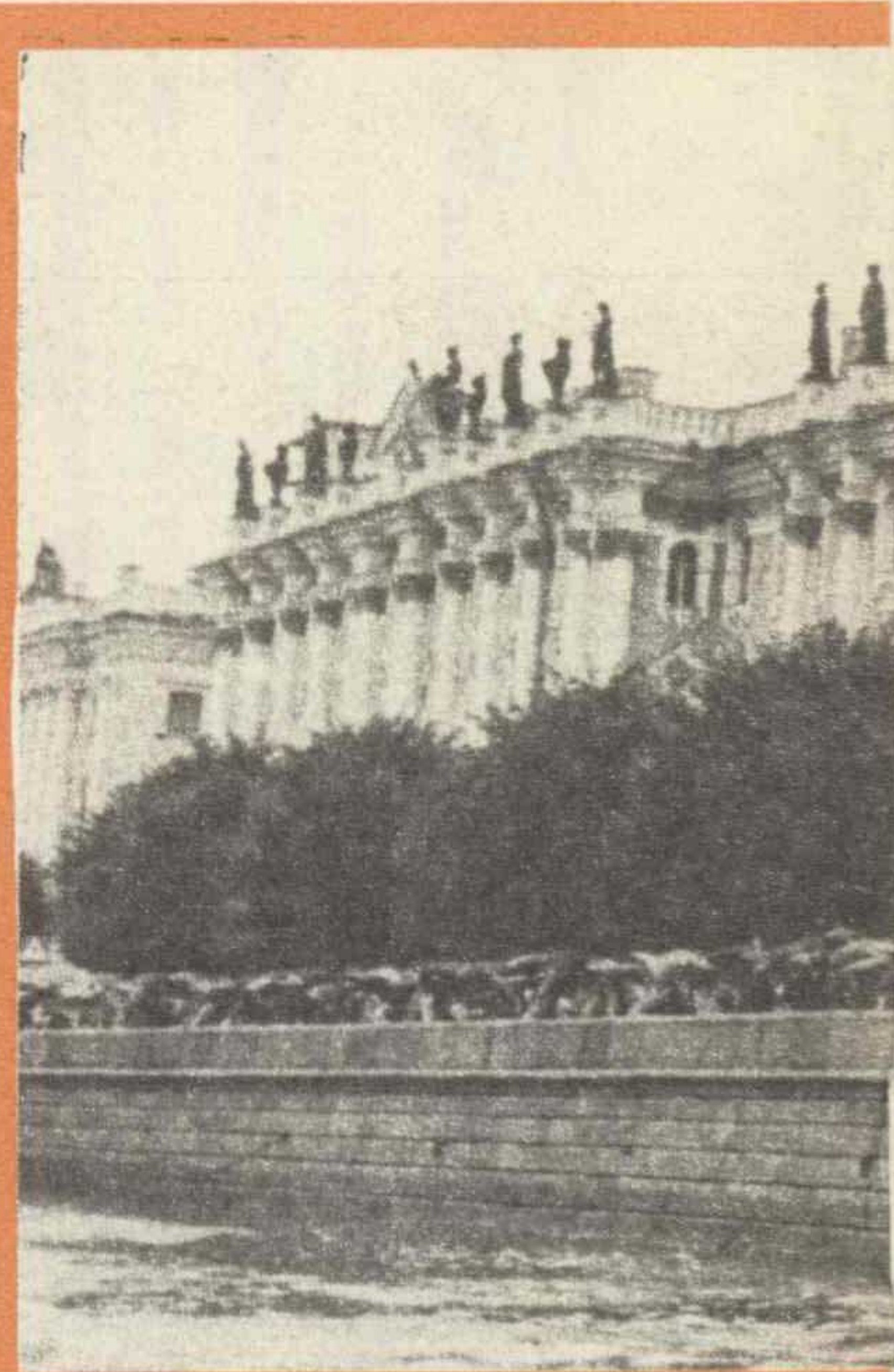
Сдано в набор 31.07.87. Подписано к печати 18.08.87. А 00417. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд. № 1802. Заказ № 1020.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

# ЧТОБЫ ПЛЫТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ

Олег ПЕТРИЧЕНКО,  
соб. корр. «Огонька»,  
Александр НАГРАЛЬЯН (фото)



## 1917 • 1987



Мы долго ждали этот день.

Ждали, потому что Ленинград без «Авроры» — это все равно что Ленинград без Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа... Из песни и то слова не выкинешь, а тут на три года опустела привычная стоянка у Нахимовского училища.

Примерно 85 лет (с момента спуска) «Аврора» на воде! А ведь позади страшные раны Цусимы, тысячи миль дальних походов в просторах Атлантического, Индийского океанов, последний октябрьский 1941 года бой у Ораниенбаума, 850 дней на дне Финского залива...

— «Аврора» намного пережила всех своих сверстников, — говорит главный строитель проекта восстановления крейсера П. Смолев. — Чтобы определить подлинное физическое состояние ее корпуса, методом ультразвуковой дефектоскопии было сделано 1450 контрольных замеров, произведен анализ физико-химических свойств корпусной стали, брони, других материалов. Один из выводов, к которому мы пришли, — подводную часть надо менять полностью.

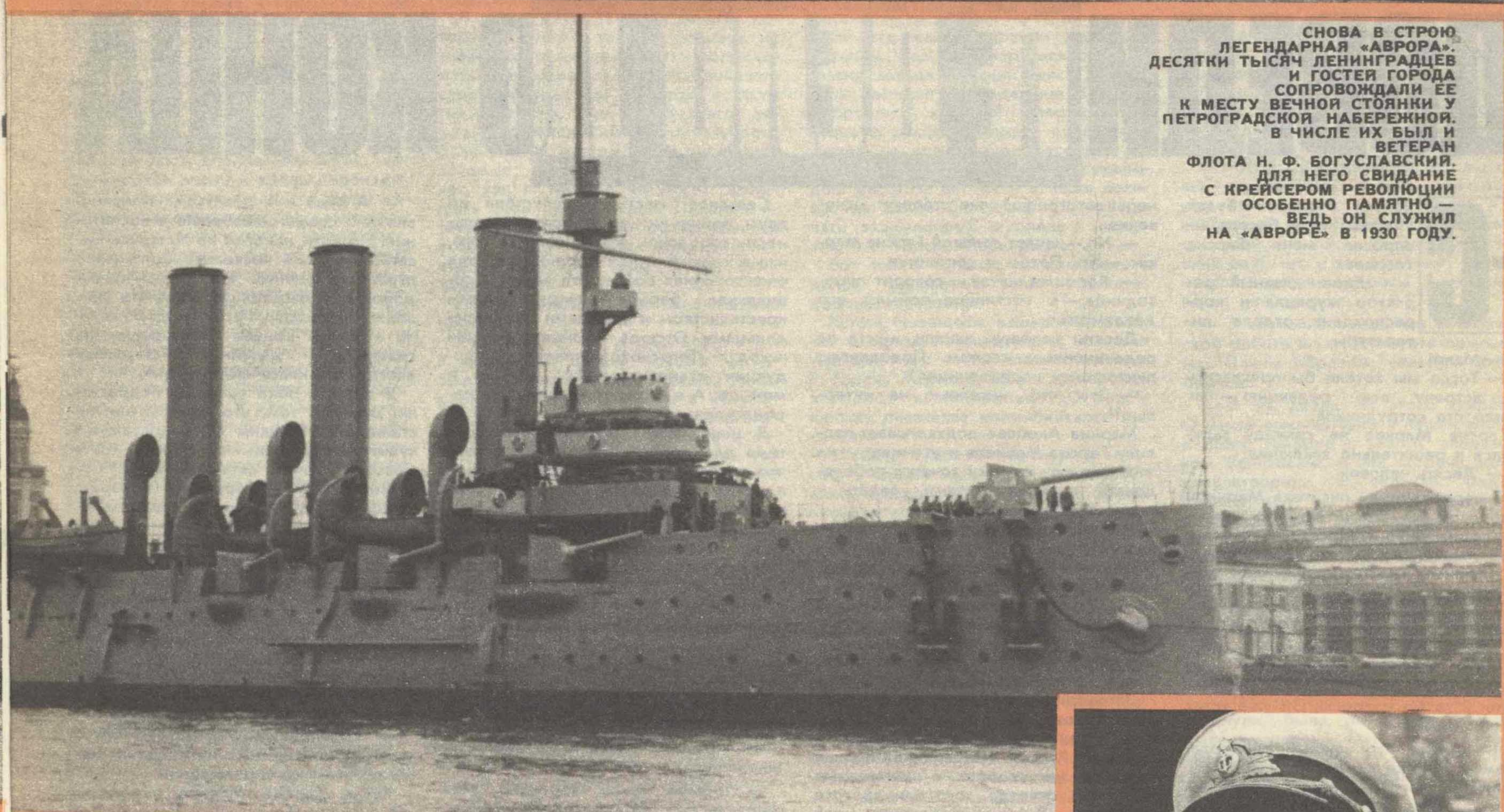
Мне довелось бывать на заводе в те дни и видеть многие этапы этой ювелирной работы. Представьте, однако, и сами, что стоило аккуратно разрезать огромный (длиной 123,8 метра, шириной 16,8 метра) корабль, а потом точно состыковать

его новую подводную и отремонтированную верхнюю части.

Да, собственно, и не было на «Авроре» простых дел — время унесло не только мастеров, ее сотворивших, но и развеяло чертежи, по которым можно было бы воссоздать точный историко-архитектурный облик крейсера. Вот почему за год до того, как его привели на завод имени А. А. Жданова, специалисты отправились в долгое, непредсказуемое по результатам «плавание»...

Меня лично поразил такой факт: добываясь исторической достоверности во всем, специалисты обращались за консультацией даже в Александрово-Невскую лавру! Упоминаю об этом, так как приходилось и слышать, и читать рассуждения о разного рода погрешностях против первоначального вида тех или иных помещений, допущенных в ходе реставрационных работ. Тема эта заслуживает отдельного разговора, но вот что подчеркивают судостроители: не реставрацией, а ремонтно-восстановительными работами занимались они, и не долгие годы, а предельно короткие сроки были отпущены им на все про все. Ну, а что касается погрешностей — мало, наверное, найдется сейчас в стране людей, знающих историю «Авроры» лучше, нежели тот же П. Смолев, заместитель главного конструктора В. Бочков, его коллеги Т. Базанкова, С. Овсянников, В. Простяков и многие





СНОВА В СТРОЮ  
ЛЕГЕНДАРНАЯ «АВРОРА».  
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА  
СОПРОВОЖДАЛИ ЕЕ  
К МЕСТУ ВЕЧНОЙ СТОЯНКИ У  
ПЕТРОГРАДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ.  
В ЧИСЛЕ ИХ БЫЛ И  
ВЕТЕРАН  
ФЛОТА Н. Ф. БОГУСЛАВСКИЙ.  
ДЛЯ НЕГО СВИДАНИЕ  
С КРЕЙСЕРОМ РЕВОЛЮЦИИ  
ОСОБЕННО ПАМЯТНО —  
ВЕДЬ ОН СЛУЖИЛ  
НА «АВРОРЕ» В 1930 ГОДУ.

другие опытные инженеры — кораблестроители и механики, нашедшие, изучившие, обдумавшие тысячи документов, прежде чем приступить к делу.

— Отдавая должное нашему коллективу, не забудьте, что для восстановления корабля немало сделали и коллеги Балтийского, Адмиралтейского и Канонерского заводов, другие предприятия Ленинграда, — заметил комиссар «Авроры» Герой Социалистического Труда Н. Я. Романов.

Комиссаром называю его не случайно. Именно так долгое время обращались к Николаю Яковлевичу товарищи, доверившие ему возглавить специальную партгруппу, созданную на время ремонтных работ.

Кто-то из инженеров подсчитал для наглядности: труда, вложенного в «Аврору», хватило бы для строительства примерно пяти новеньких сухогрузов. И какого труда! Чисто физически было не просто вручную уложить свыше восьмисот тонн балласта, таская по узким низким проходам подводной части 32-килограммовые «чушки». Но еще сложнее восстановить по старинным фотографиям, эскизам, чертежам светильники, вооружение, уникальные паровые катера, котлы — восстановить в общей сложности 1 тысячу 732 единицы сохранившегося оборудования, изготовить заново 244.

Сложностей, конечно, хватало. Побеждали их конкретностью, равной персональной ответствен-

ностью рабочих и руководителей. «Партгруппа предлагает вам подготовить к очередному собранию ответы на следующие вопросы...» Эти слова на специальных бланках с силуэтом «Авроры» определяли все повестки дня.

Бригады Н. Романова, В. Поспеева, В. Малиновского, Ю. Громова, В. Лебедева и других отмечают сейчас в числе особо отличившихся. Есть они и на других предприятиях. И не только Ленинграда — над заказами для «Авроры» трудились в десятках городов страны.

Там тоже ждали этот день. Потому что не только Ленинград, вся страна немыслима без «Авроры» — ее гордости, памяти и надежды.

— Корабль к бою и к походу приготовить!

Эта команда прозвучала на «Авроре» несколько дней назад. С нее началась боевая учеба у экипажа, ведь крейсер не только реликвия — он действующий корабль № 1 Военно-Морского Флота СССР.

Глядя на триумфальные арки мостов, во внеурочный час, среди бела дня, взметнувших свои крылья навстречу легендарному крейсеру, я невольно вспомнил эти волнующие символические слова.

Нам почти 70. Но не окончен бой. Продолжается поход. И еще многое предстоит сделать, «чтобы плыть в революцию дальше...».





**«У ВАС  
ПЕРЕСТРОЙКА —  
ВЫ ПОЭТОМУ  
ТАК СПЕШИТЕ!» —  
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС  
БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ  
У «ОГОНЬКА».**



**«В МОМЕНТ ИСТИНЫ  
ЧЕЛОВЕК ОДИНОК» —  
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС  
ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ  
КОРРЕСПОНДЕНТУ  
«ОГОНЬКА»  
ФЕЛИКСУ МЕДВЕДЕВУ**

# ДОВЕДИТЕ ДЕЛО ДО КОНЦА

**С**колько человек будет участвовать в беседе? — спросил меня Гарсиа Маркес.

— Двое: главный редактор журнала и корреспондент отдела литературы.

— Мало!

— Тогда мы хотели бы пригласить на встречу всю редакцию — нас около ста сотрудников.

Гарсиа Маркес на секунду задумался и решительно заключил:

— Десять человек.

С переводчицей писателя Мариной Акоповой мы подсчитали, что за время пребывания в Москве в качестве гостя международного кинофестиваля Габриэль Гарсиа Маркес дал около семидесяти пяти интервью. Это при том, что интервью он дает неохотно и репортеров недолюбливает, сетуя, что никак не может понять одного: почему журналисты всех стран мира договорились задавать одни и те же вопросы. Он уже устал на них отвечать.

Я заметил, что каждый предполагаемый приезд всемирно известного колумбийского писателя в Советский Союз всегда окутывается тайной, пеленой неясностей, легендами. Случается, что тебя официально извещают: «Гарсиа Маркес в Москве», — а он преспокойно пребывает в ту минуту где-нибудь в Барселоне или на Кубе. А бывает и наоборот: звонишь в Союз писателей: «Я слышал, что Гарсиа Маркес приехал в Москву», — ответ: «Нам об этом ничего не известно». Это Союзу-то писателей! Выясняешь: действительно, Гарсиа Маркес пьет кофе в гостинице «Россия» на семнадцатом, его любимом этаже, и в Москву он приехал по линии Союза кинематографистов. Вот и на этот раз, как рассказали мне, Гарсиа Маркес сам купил себе билет в Париже, и только тогда в Москву пошла телефонограмма о точном времени его прилета.

Как только начались переговоры о возможном приезде Гарсиа Маркеса в СССР, он заявил, что непременно хочет встретиться с журналом «Огонек», о котором он в последнее время слышит много хорошего.

Итак, встречаем нашего гостя у подъезда гостиницы «Россия». Неведомым способом прослышав о посещении Гарсиа Маркесом «Огонька», поклонники его таланта, коллекционеры автографов уже стерегут мгновение.

— No, — качает головой Гарсиа Маркес. — No. Потом в гостинице.

— Хорошая шутка, — говорит переводчица, — в гостинице поймать его невозможно.

Десять человек заняли места за редакционным столом. Пододвигаю диктофон к переводчице:

— Это что, интервью на интервью?!

Марина Акопова подхватывает реплику Гарсиа Маркеса и уточняет — на этот раз ему самому хочется побеседовать с журналистами, задать и свои вопросы.

Мы знакомим гостя с только что вышедшим из печати номером «Огонька». Его заинтересовало интервью с академиком Аганбегяном.

— А экономическая реформа, о которой здесь пишется, уже принята? Ведь важно действие, а в нем результат, — спрашивает Гарсиа Маркес.

Заговорили о режиссере Андрее Тарковском.

— Я так и не понял, почему он уехал из России. Но западная пресса никогда не говорит о конкретных причинах отъезда того или другого человека. Всегда сообщается, что это просто еще один диссидент.

Уточняем, что Андрея Тарковского нельзя назвать диссидентом и что в огоньковской публикации впервые открыто объяснены причины его отъезда.

Перелистывая журнал, Гарсиа Маркес узнает на портрете Бориса Пастернака.

— Его имя широко известно. Я был в Переделкине на его могиле. Я испытал большое удовлетворение, потому что мне казалось, что эта могила как-то дискриминирована, как-то отделена от всех других могил, но я увидел, что она полна достоинства.

— Недавно я видел кинокартину «Онежская быль», она произвела на меня большое впечатление, — говорит наш гость, глядя на щемяще грустные фотографии к материалу «Оставьте нам деревню», рассказывающему об участии «неперспективных» сел.

— А в Латинской Америке есть такой процесс?

— Да, опустение деревень происходит и у нас. Страна совершенно изменилась.

Сельская местность опустела по двум причинам: из-за привлекательности городской жизни и из-за того, что в колумбийской деревне ведется ожесточенная война. Эта война — социальная борьба между бедным крестьянством и крупными землевладельцами. Отсюда такой трагический исход... Сельскохозяйственной продукции становится все меньше и меньше. А в городах чудовищная перенаселенность.

Я знаю, семья, дети — волнующая тема для нашего гостя. Дело в том, что он преданный семьянин. В жене, в детях, в их кругу он ищет опору, надежду и находит ее. Вспоминаю, что в прошлый приезд писатель привозил и своих сыновей.

— Где они сейчас, сеньор Гарсиа Маркес, чем занимаются, почему вы не взяли их в Москву?

— Старший сын — кинооператор. Второй — дизайнер. Оба они унаследовали творческие возможности отца, но применили их в более практической сфере. Они вообще более практичны — в маму, наверное...

— А родители влияли на выбор их жизненного пути?

— Прежде всего, вероятно, есть генетические предрасположенности, которых мы, естественно, избежать не могли. Мы всегда старались влиять на своих детей. Вы знаете, мы старались влиять на них еще и потому, что им всегда было довольно трудно жить из-за их отца. Старший сын, например, учился в Гарвардском университете. И вот за все годы учебы он старался, чтобы как можно меньше из его окружения людей знали о том, кто он такой. Кто его отец. Но вместе с тем существовали влияния, которые просто неизбежны. Это атмосфера дома, например. Ведь дети помнят, как играли они с Пабло Нерудой, Хулио Кортасаром, Карлосом Фуэнтесом. Им, конечно, не забыть разговоров о литературе, об искусстве...

А сегодня они во всех комнатах слушают рок-музыку, молодежные современные ритмы. Гремит так громко, что я тоже вынужден слушать. И они таким образом тоже влияют на меня. Правда, когда я слушаю классическую музыку, музыку великих композиторов, я тоже очень громко включаю динамики. И таким образом, — Гарсиа Маркес улыбается, — они любят и то, и другое.

— А вы?

— А куда мне деваться... Конечно, влияние среды неизбежно в воспитании. Но дети никогда не пытались писать. Младший несколько лет учился играть на флейте. Я был этим очень доволен. Я был так доволен, что усиленно поощрял его, подталкивал. Но в конце концов он перешел на графический дизайн. А старшему всегда нравилась фотография.

Я всегда, пока сыновья подрастали, думал о том, что кем бы они ни стали, они должны быть достаточно культурными людьми... Вообще-то, я доволен своими детьми. Старший получил диплом историка в Гарварде. А когда вернулся домой, начал заниматься фотографией.

Так вот, отвечая на ваш вопрос, повторюсь, что ни я, ни супруга не пытались оказывать на детей никакого давления, но среда, безусловно, на них во многом повлияла. И, конечно, на них повлияла позиция, которую занимали писатели, художники, часто бывавшие у нас в доме...

Гарсиа Маркес задумался, сделал паузу:

— Я импровизирую, потому что я никогда на эту тему не говорил, меня об этом не спрашивали.

Когда Гарсиа Маркес увидел в «Огоньке» репортаж, посвященный Афганистану, он живо заинтересовался.

— Как раз об этом я хотел с вами поговорить подробнее. Предмет разговора меня очень волнует. Прежде всего скажите, как попал в Афганистан ваш корреспондент, каким способом он оказался на театре боевых действий? Как к нему относились военные? А нельзя ли познакомиться с храбрым репортером?

Но Артема Боровика, автора документального очерка «Встретимся у трех журавлей», не было в редакции. Поэтому комментарии давал редактор международного отдела «Огонька» Дмитрий Бирюков, рассказ которого Гарсиа Маркесу многое прояснил. Примерно в течение получаса шел оживленный разговор по поводу данной публикации, а потом писатель сказал:

— Я не знаком достаточно подробно с ситуацией в Афганистане, чтобы сказать, каким способом ее можно нормализовать, и если Михаил Горбачев не сделал этого до сих пор, значит, сделать это достаточно трудно. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки сделают все, чтобы никогда не исчезла возможность обви-



нений в адрес вашей страны. Думаю, что они всегда будут цепляться за эту возможность.

Я все время думаю о том, как сложна журналистская объективность, в особенности когда речь идет о международных делах, о глобальных проблемах.

— Кстати, тут я хочу вам сказать, что в моей жизни были моменты, когда я очень хотел бы знать русский язык. В частности, сейчас, потому что мне так хочется прочесть весь этот номер «Огонька». Я чувствую, что в каждой статье, в каждом материале есть информация, которая многое бы мне прояснила из того, что меня интересует сегодня в вашей стране. Как плохо, что мы еще не умеем общаться напрямую, без переводчиков.

Заговорили об издательских делах. Предлагаем нашему гостю выпустить в «Библиотеке „Огонек“» очередную книгу. Подняв этот вопрос, мы не знали, какую болезненную тему затронут. Исчезла улыбка, и Гарсиа Маркес стал высказывать нам свои сомнения и претензии:

— Дело вот в чем. До определенного времени Советский Союз не состоял в официальных отношениях с другими странами в области издательских прав. И теперь ваши издатели считают вполне законной акцией, когда вновь и вновь переиздают без оплаты гонорара те книги западных авторов, которые выходили в СССР до подписания соглашения. Скажите, справедливо это или нет? Система оплаты писательского труда у вас необычайно оригинальна и отличается от всех систем мира. Во всем мире мне, как, естественно, и другим авторам, платят в основном за количество проданных экземпляров, а не за количество страниц в книге, как у вас. У вас может случиться, что писатель получает одинаковую оплату и за тираж в тридцать тысяч экземпляров, и за тираж в тридцать миллионов экземпляров. Справедливо ли это? В остальном мире существует иная система, мягко говоря, более подходящая, более справедливая и демократичная, хотя не всегда и она выполняется: это оплата процента от реализованных экземпляров книги. Ваши же издатели совершенно не принимают в расчет то, как раскупается книга, интерес публики. А ведь главное именно в нем. И в нравственном, культурологическом смысле, и в коммерческом.

Поясню свою позицию следующим образом. Я очень доволен тем, как печатаются и как читаются мои книги в Советском Союзе. И я сказал об этом Михаилу Сергеевичу Горбачеву, когда встречался с ним. Я считаю большой для себя честью, что одним из моих читателей является ваш руководитель. Я сказал Горбачеву и о тиражах моих книг на испанском языке. Так вот, ваша страна является страной, где мои книги издаются чаще всего в мире, включая и издания в испаноязычных странах. Повторяю, я этим очень удовлетворен. Мне показывали мои книги, изданные у вас. Правда, только показывали... Хотя бы присылали мне ваши издатели, что издают мое... Поймите меня правильно — я зарабатываю вполне достаточно для того, чтобы жить и делать все, что мне нравится. Когда я сейчас говорю об этом и когда я обращаюсь к советским властям с претензиями по поводу оплаты моего труда, я делаю это не из-за каких-то меркантильных побуждений. Повторяю, деньги у меня есть. Но я думаю, что ваша система компенсации за литературный труд несправедлива по отношению к западному автору. Я не знаком с условиями, по которым печатают произведения советских писателей. Я мало знаком с материальными условиями жизни со-

ветских литераторов. На Западе писатели живут на заработки от продажи своих книг. Многие из них печатаются и в Советском Союзе. И многие из таких, печатающихся у вас, действительно нуждаются в деньгах.

В социалистических странах правительства зачастую пытаются решать проблемы жилища, здоровья, образования... На Западе же за все это надо платить. Поэтому западному писателю деньги гораздо нужнее.

Вот откуда мои претензии к вашему агентству по авторским правам. Я еще раз подчеркиваю: мне кажется абсолютно неправильной система гонорара, когда платят за количество страниц в том или ином произведении. Я думаю и о себе, и о своих коллегах.

Да, я понимаю, что Советский Союз испытывает затруднения в валюте. Это не секрет. Хорошо, платите в рублях, в советских рублях. У вас многое можно купить на рубли. Вы, в конце концов, одна из самых могущественных держав в мире.

Я готов пожертвовать деньги, которые я получаю за свои романы, на любое хорошее дело. Я это могу сделать. И прежде всего, чтобы доказать свое бескорыстие. И потом я часто так поступаю, мне нравится это делать, нравятся благотворительность. Если честно, мало в мире писателей, которые зарабатывают столько денег, как я. Многие не могут защищать свои права, как я. Писатели — творческие люди, они разбросаны по всему миру и слабо объединены, чтобы защищать свои права, свои возможности.

Гарсиа Маркес многозначительно произнес:

— Извините, но я обо всем этом в Советском Союзе говорю впервые. Я решил сказать о вашей гонорарной политике именно в «Огоньке». Хотя Михаил Горбачев разговаривал со мной так приветливо и заинтересованно, что я уверен, он готов был говорить на любую сложную тему. В том числе и на эту.

— Значит, вы хотите, чтобы мы обо всех этих проблемах сказали в журнале?

— Именно поэтому я и говорю о них так подробно. Я хочу, чтобы вы напечатали все, что я говорю.

— Эпоха перестройки позволит, по-видимому, решить и эту задачу. Во всяком случае, многие наши ведущие писатели выступают именно за такую форму оплаты, о которой вы говорите, сеньор Гарсиа Маркес.

— Мне кажется, что у вас еще огромное количество людей, которые в силу инерции не хотят пошевелиться, что-то предпринять, чтобы защитить даже свои интересы.

На Западе издатель всегда рискует. Риск состоит в том, что в момент подписания договора он платит автору аванс, но, если книга не продается, издатель на этом может много потерять. Вообще, всякий издатель заинтересован в том, чтобы заплатить заранее. Мне тоже авторские отчисления платят заранее, авансом. А потом платят обычную ставку: десять процентов с каждого проданного экземпляра. Правда, мне еще выдается прогрессирующая ставка: восемь процентов до продажи определенного количества экземпляров. А дальше уже десять процентов, пятнадцать и так далее. Но я при этом не могу сказать, что это совершенная система, ведь здесь возникает другая проблема: подсчет ведет издатель, и писателю трудно узнать, что к чему в этих расчетах. Но мне это неважно, потому что моя личная выгода учитывается в достаточной степени. И я выигрываю, и выигрывают мои читатели.

Но в Советском Союзе есть еще одна проблема с моими книгами: очень мало экземпляров моих книг продается по обычным ценам, то есть

по своим номинальным ценам. Мне рассказали, что мои книги исчезают, не доходя до посетителей книжных магазинов, и возникают на черном рынке, цены на котором несправедливо высоки. Честно говоря, я не понимаю, как все это происходит.

Воспользовавшись темой разговора, я попросил писателя предоставить какое-либо произведение для публикации в «Огоньке».

— Я подумаю, у меня есть одна вещь для вас. Мы позже вернемся к этому разговору.

Забегая вперед скажу, что Гарсиа Маркес не забыл о своем обещании. Через несколько дней после отъезда писателя из Барселоны от его литературного агента пришла телеграмма следующего содержания: «В качестве агента Г. Гарсиа Маркеса подтверждаю разрешение автором в Москве на публикацию в журнале „Огонек“ рассказа „Следы твоей крови на снегу“. Публикацию разрешаю только в журнале „Огонек“ один раз. Журнал не имеет права передавать рассказ — ни полный текст, ни какую-либо его часть — другим печатным органам без предварительного согласия автора. Русский текст должен быть передан в редакцию Галиной Дубровской, которой автор поручил перевод рассказа. Будем очень признательны, если журнал перешлет десять экземпляров журнала с переводом рассказа автору и в наши архивы. Мы хотели бы также получить десять экземпляров журнала с интервью с Г. Гарсиа Маркесом».

Вот такая четкость должна быть в делах, уважаемые наши издатели, дорогие вааповцы.

Кстати, извещаю наших читателей, что в одном из следующих номеров журнала мы напечатаем рассказ Г. Гарсиа Маркеса. Есть и намерение выпустить в «Библиотеке „Огонек“» книжку рассказов колумбийского писателя.

...Гарсиа Маркес перевернул кассету в своем миниатюрном магнитофоне, — параллельно со мной он записывал всю нашу беседу. Отпил кофе, который явно остыл... Кстати сказать, деньги, за которые писатель радуется, нужны ему еще и для поддержания созданного им несколько лет назад Фонда латиноамериканского кино, президентом которого он является. Этот Фонд — настоящая мечта писателя. Если латиноамериканский роман, как считает Гарсиа Маркес, да и все те, кто читает книги известнейших в мире писателей Варгаса Льосы, Карпентьера, Кортасара, Фуэнтеса и многих других, достиг своих высот, то латиноамериканское кино еще очень слабо развито. Патриот своей родины, патриот своего континента, Гарсиа Маркес делает все, что в его силах, для развития культуры латиноамериканцев.

Он щедр, но в то же время практичен. Он знает, что точность и деловитость — качества, отличающие именно активное, энергичное общество. Именно при социализме достоинства эти должны развиваться в полной мере. Мечта иных наших ретивых администраторов о том, чтобы одолеть капитализм на общественных началах, не расходуясь и не напрягаясь, вряд ли реалистична. Гарсиа Маркес тоже так считает.

Он хотел бы на свои заработки укрепить латиноамериканский кинематограф. Нарушив клятву никогда в жизни не возглавлять никакую организацию, он стал президентом Фонда нового латиноамериканского кино. Ведь писатель влюблен в кино, недаром в молодости он учился на сценарном и режиссерском факультетах Римского экспериментального киноцентра.

— Сеньор Гарсиа Маркес, готовясь к встрече с вами, я еще раз перечитал ваши произведения, и мне еще раз показалось, что все они — об

одиночестве. Об этом же чувстве, возникающем при чтении ваших произведений, говорил мне и один советский критик. Главный герой ваших книг — человеческая отчужденность, отъединенность, непонимание, духовная изоляция... Одним словом, «сто лет одиночества»...

Гарсиа Маркес задумался, приблизительно полминуты он молчал, а потом произнес:

— Вам так показалось? Вы знаете, я тоже об этом думал... Правда, вы сказали о критике. Я стараюсь не читать критику на мои книги. Почему? Потому что если это плохая критика, то читать ее не стоит. А если это хорошая критика, то она может воздействовать на тебя, навязать тебе свою точку зрения.

Так вот об одиночестве... Я не знаю, существует ли оно в моем творчестве, но я знаю, что оно существует в писателе, потому что когда писатель садится за стол, то ему никто не может помочь, ни один человек, никто... Он остается один на один с чистым листом бумаги, и это и есть одиночество. В момент истины человек одинок, уединен — пользуйтесь каким угодно термином.

Подходило к концу время, отведенное для разговора, а вопросы к собеседнику не иссякали. Писатель заметил мое волнение:

— Что вы нервничаете? Что вы тут все нервничаете? У вас перестройка — вы поэтому так спешите? А я все равно уже опоздал на встречу со своей женой и на дипломатический раут. Что у вас там еще? Только не политические вопросы. Я уже много на них отвечал.

— Я случайно узнал, что в творческой работе вы используете компьютер. Каким образом, сеньор Гарсиа Маркес?

— Я не делаю из этого секрета. О месте компьютеров в нашей жизни я долго говорил с вашим академиком Велиховым, и эта встреча меня удовлетворила и увлекла. Скажу больше, если бы я раньше придавал значение роли компьютеров, я написал бы больше, намного больше. Вычислительные машины очень помогают человеку.

— В одном из интервью вы сказали, что, несмотря на популярность, у вас очень мало близких друзей. Есть ли среди них друзья в нашей стране?

— Информация, которую вы почерпнули, была, по-видимому, дана в плохом переводе. На самом деле я горжусь тем, что у меня есть несколько друзей, с которыми я дружу всю жизнь. Это трудно потому, что с приходом славы приятельские отношения обычно рассыпаются, но я сумел сохранить некоторые из них, так же, как и свою семью, что было непросто... Я много путешествую, и всегда одно из желаний в поездках — увидеться с друзьями. Эти встречи незабываемы, ибо только в кругу друзей я чувствую себя самим собой. Во всяком случае, я считаю себя самым верным другом моих друзей и глубоко убежден, что ни один из них не любит меня так сильно, как я люблю того из них, которого люблю меньше всех.

Что касается друзей в Советском Союзе, то они у меня есть, но я не буду называть их поименно, потому что могу кого-то забыть назвать, а это их обидит.

И все-таки в самом конце встречи мы заговорили о политике, попросил Гарсиа Маркеса поделиться впечатлениями о том, что сейчас происходит в Советском Союзе.

— Ваша перестройка очень важна и для левых сил латиноамериканских стран. Многие в нее верят. И важно, чтобы вы довели дело до конца. Это будет событием в современной истории.



# НЕТ НИЧЕГО ТРУДНЕЕ ЭТОГО...

ЗЕМЛЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ. НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ (МОЖЕТ БЫТЬ, К СЕРЕДИНЕ ХХІ ВЕКА ОНИ ПОКАЖУТСЯ ЧЕРЕПАШЬИМИ). НО, НАВЕРНОЕ, И ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СТОЯТ ПЕРЕД УГРОЗОЙ ОБЩЕГО БЕДСТВИЯ. ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД УГРОЗОЙ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ (КАК ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ). ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ — НАДО СПЛОТИТЬСЯ, ЧТОБЫ СПЛОТИТЬСЯ — НАДО ПОНЯТЬ И УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА. А ЭТО ЗНАЧИТ, НАДО ИМЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

ИНФОРМАЦИИ — ЧЕТКОЙ, НЕПРЕДВЗЯТОЙ, ЗНАТЬ ВСЕРЬЕЗ СУТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ СОБЫТИЙ, ТЕНДЕНЦИЙ — МЕЖДУНАРОДНЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ. ИМЕТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДРУГИХ ЛЮДЯХ В ДРУГИХ СТРАНАХ, А ДРУГИМ ЛЮДЯМ — В ДРУГИХ СТРАНАХ — О НАС. КАК ИСПОЛЗУЮТСЯ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ? В ЧЕМ ЕЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ? ВОТ МНЕНИЕ ТРЕХ ИЗВЕСТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ.



Александр Евгеньевич БОВИН после окончания юридического факультета Ростовского университета работал народным судьей в Краснодарском крае. Учился в аспирантуре философского факультета МГУ. Был научным консультантом журнала «Коммунист». С 1963 года по 1972 год — ответственный работник аппарата ЦК КПСС. С 1972 года — политический обозреватель газеты «Известия». Лауреат Государственной премии СССР и премии имени Воровского.

— Александр Евгеньевич, вы довольны жизнью?

— Сначала давайте уточним. Моя жизнь — это прежде всего моя работа. Другого хобби, другого увлечения у меня нет.

— Хорошо. Так вы довольны своей работой?

— И да, и нет. Да, потому что мне повезло: никогда не занимался неинтересной работой. Делал дело, которое мне нравилось. Друзья помогали делать его лучше. Враги заставляли делать его еще лучше. В общем, все нормально...

— И нет...

— Нет, потому что все время кажется, что можно было бы работать с большим КПД. Захлестывает лавина информации, литературы. О многом не успеваешь читать. О многом не успеваешь написать. То, что успел сделать, на завтрашний день кажется недотянутым, чужим каким-то.

Никогда не смотрю, например, телевизионных передач, в которых участвую. Потому что огорчаюсь: можно было бы точнее сказать, выразительнее, основательнее. Жизнь сложна. Иногда приходилось кривить душой, наступать на горло собственной песне. А в общем, старался жить по совести, работать по совести.

— Как вы работаете?

— Ну, во-первых, медленно очень. Тема должна появиться, вызреть. Потом собираю материал, то есть читаю, иногда беседую со специалистами. И потом уже берусь за перо и бумагу. Не печатаю на машинке. И не диктую стенографистке. Медленно вывожу буквы, на ходу сам себя правлю. Стараясь оставить редактору минимум работы.

Это, так сказать, идеальный случай. Но газета есть газета. Звонит редактор и говорит: нужен такой-то материал сегодня (завтра) в номер. Вот самое трудное для меня — эти экспромты. Непроходящее ощущение цейтнота. А ведь это и есть нормальная журналистика.

— Что вы считаете главным в профессии журналиста-международника?

— Наверное, я должен толково, грамотно, интересно объяснить происходящее на международной арене, раскрыть внешнюю политику нашей страны. Это — главное.

Но я не ставлю тут точку. Есть сверхзадача — научить людей (читателей, зрителей, слушателей) самостоятельно анализировать события, самостоятельно мыслить. Факты и логика — вот основа. Читатель ничего не должен принимать на веру. Его надо убедить объективным изложением фактов и безукоризненной аргументацией. Очень важно обнажить причинно-следственные зависимости, поставить то или иное событие в широкий контекст мировой политики. И не бояться прогнозировать. Допустим, я ошибусь. Ну и что же? Нельзя работать без права на ошибку.

Мой читатель — это образованный, знающий человек, который хочет ухватить суть происходящего. Ему осточертели общие фразы, штампы, пропагандистские клише. Он жаждет настоящей, калорийной пищи для ума, и я обязан дать ему эту пищу.

Я уважаю людей, для которых работаю, и они это чувствуют, понимают.

— Иногда высказывается мнение, что в современных условиях международная журналистика существенно отстает от журналистики, имеющей дело с внутренней тематикой. А вы как думаете?

— Именно так. Отставание существует, и «зазор» пока не уменьшается.

Во-первых, есть темы, и их не так уж мало, которые фактически закрыты для вдумчивого, объективного журналистского анализа. К таким темам можно «прикоснуться», но лишь поверхностно, на уровне банальных истин.

Во-вторых, деятельность ведомств, связанных с осуществлением внешней политики, также находится за пределами журналистских возможностей. Это делает анализ односторонним, плоским, негибким.

В-третьих, мы часто примитивизируем, оглушаем своих оппонентов. Скажем, печатается комментарий к очередной речи противника. Но из этого комментария невозможно понять, что же говорят они, как мотивируют свою позицию. Опуская аргументацию, мотивировку оппонента, мы по существу ведем бой с тенью. А поскольку такой бой не требует аргументов и с нашей стороны, то они заменяются набором хлестких эпитетов: «зловный», «клеветнический», «провокационный» и т. п. и т. д. Читатель, разумеется, чувствует фальшь ситуации и не говорит нам «спасибо».

В-четвертых, мы как бы делим факты на приятные и неприятные и нередко отстаем, запаздываем в подаче неприятных фактов, особенно — комментариев к ним.

В-пятых, нам не хватает дискуссий, споров. Хотя все объективные условия для товарищеской полемики у нас есть. Я не знаю ни одной крупной международной проблемы, при анализе которой — при общем принципиальном подходе — мнения специалистов совпадали бы полностью. Так что есть о чем поспорить. Мешает, видимо, сила инерции, оставшаяся от времен, уже прошедших.

Вот и получается, что мы даем весьма неполную картину мировых событий, лишаем эту картину многих красок, освобождаем ее от контрастов и противоречий, оттенков и полутон.

— Есть, что перестраивать.

— Есть. Причем понимание указанных недостатков, попытка бороться с ними, работать лучше, доказательнее, оперативнее — все это началось давно. Во всяком случае, до того, как я пришел в журналистику. Но только сейчас начинают создаваться общественные условия, которые позволяют надеяться, что и на нашей улице будет праздник.

— Я никогда не встречала раньше ваших статей на внутренние темы. А в этом году было две — «Резерв памяти» в «Новом времени» и «Перестройка и судьбы социализма» в «Известиях». Меняются интересы?

— Интересы не меняются. В том смысле, что меня всегда больше интересовало происходящее в СССР, чем в США. Профессия требовала писать об Америке и всяких других заграничках. И теперь требует. Но сердце, но душа — они ориентированы на перестройку. Нет сейчас ничего важнее. И об этом самом важном, важнейшем хочется писать, размышлять, делиться опытом. Чтобы победить, обязательно победить.



Валентин Сергеевич ЗОРИН первым из выпускников Института международных отношений пришел в радиожурналистику (массовое телевидение только зарождалось). 1 августа 1948 года — день этот Валентин Зорин запомнил навсегда — поступил на работу во Всесоюзный радиокомитет. Его привлекала американистика. Темы его журналистских выступлений и научных интересов лежали в русле общих проблем.

Политический обозреватель Центрального телевидения профессор В. С. Зорин — лауреат Государственных премий СССР и РСФСР.

— Валентин Сергеевич, есть ли у вас любимый жанр? Вообще хорошо ли, на ваш взгляд, если журналист работает в разных жанрах или «целомудренно» и верно служит одному?

— Думаю, что идеальный журналист может работать во всех жанрах: очерка, обозрения, репортажа, хроникальной заметки... Есть журналисты-аналитики. Есть очеркисты.

Сам я работал в самых разных жанрах. В книгах, в тех, которые считаю наиболее удавшимися, пытался совместить и публицистику, и аналитическую журналистику, более близкую научной деятельности. Так же и в работе над телевизионными фильмами пытался сочетать анализ и образное решение. И тем не менее, если строго говорить, я считаю себя журналистом аналитического плана.

— Считаете ли вы себя американистом?

— Знать одну страну, хотя бы и такую, как США, для журналиста недостаточно. Американцы называют это «затыкать носом трещину в стене»: вы видите только кусочек трещины и не видите всей трещины, а тем более всей стены. Для того чтобы правильно представить себе, что происходит в Америке, необходимо видеть ее в соотношении с другими странами, во всем многообразии ее разных связей. И вместе с тем журналист должен досконально и точно знать какой-то один предмет. Потому что, если он знает только общее соотношение, тогда есть опасность окатиться дилетантом.

— Первая передача «9-я студия» вышла в эфир в 1974 году. В чем основная задача цикла сегодня?

— И сейчас это не только программа о сегодняшнем дне мировой политики, это — главное — аналитическая переработка информации, к тому же с желанием прогнозировать тенденцию, явление, ход событий. Многие авторитетные люди, имена которых широко известны народу, стали «известны в лицо» именно благодаря «9-й студии», из некоей «абстракции» превратились в добрых знакомых, которых хотят видеть и слышать, к которым лично обращаются с письмами, вопросами.

— «9-я студия» в эфире много лет. Не кажется ли вам, что цикл уже испытал свой «звездный час», что в чем-то он исчерпал себя? В частности, появились «Телемосты», «Резонанс» — программы с непосредственной обратной связью?

— Не кажется. Уверен, что в этой программе таятся практически неисчерпаемые резервы, ибо нельзя исчерпать человеческий интеллект (и тех, кто в студии, и тех, кто у телеэкрана).

Я не верю в возможность создания программ, одинаково интересных для всех. Передача должна иметь адрес. «9-я студия» рассчитана на тех, кто уже знаком с фактами текущей международной



жизни, стремится услышать углубленный анализ происходящих процессов, готов к восприятию достаточно сложных материй.

Очень изменился и состав нашей аудитории. Мы получаем теперь много писем от молодежи — не только студенческой, рабочей, но и от старших школьников.

Работая в любом из жанров, я апеллирую к интеллекту человека, ищу свой стиль и свою аудиторию. Аудиторию, которой нужен серьезный разговор. Может быть, кто-то сочтет меня снобом, но я хотел бы обратить внимание на такую деталь в своей практике. За все годы работы над выпусками «Сегодня в мире» я не показал ни одного наводнения, землетрясения, автомобильной катастрофы. Показ такого рода событий необходим, но — для информационных программ, а не для выступлений политического обозревателя. Политический обозреватель, это моя позиция, не может обращаться к материалу, который не несет политического заряда, который просто показан, а не проанализирован, которому не найдено место в цепи других политических событий, явлений, ситуаций. Иначе (повторяю, это моя точка зрения, и знаю, что не все ее разделяют) политический обозреватель теряет доверие аудитории. По-моему, принципиально неверно, если Б Зорин (как и любой другой политический обозреватель) сегодня был в программе с эстрадной певицей, завтра — с футбольным комментатором... — то есть тогда, когда его выступление не несет прямого политического анализа.

— Валентин Сергеевич, разделяете ли вы точку зрения на то, что международная журналистика сегодня отстает — по отношению к публикациям на внутренние темы?

— Это так. И есть на то причины объективные и субъективные. Последние заключены в нас самих. Срабатывает пока еще «внутренний» цензор, собственное табу. Сейчас особенно остро встал вопрос об уровне, глубине знаний, профессиональном мастерстве. Может быть, и не каждый сумеет работать на уровне, который сегодня необходим. Что же касается причин объективных — если говорить о фактах, событиях, — тут может и должен быть более широкий спектр рассказа, показа, но проблемы международной жизни, политики связаны с международными отношениями. И если речь идет об анализе, о деталях и тонкостях, то есть вопросы, которые, видимо, не могут быть до конца (хотя бы временно) исследованы публично. Как в дипломатии. Это обстоятельство, может быть, влияет на отсутствие должных темпов развития международной журналистики. Возникает еще чрезмерная осторожность там, где ее не должно быть.

— В чем вы видите выход?

— В углубленном анализе проблем. Пусть это не всем интересно (это, как с серьезной музыкой), но чрезмерная популяризация может повредить делу.

В постановке более сложных вопросов, вопросов, которые раньше были во многом для нас закрыты. Вряд ли до XXVII съезда КПСС мы могли бы всесторонне обсудить такую серьезнейшую проблему: не являлось ли ошибкой размещение так называемых ракет «СС-20» в Европе?

В максимальном усилении гласности.

— Не кажется ли вам, что для «9-й студии» эффективен прямой выход в эфир?

— Нет, не кажется. Посмотрите, что очень часто происходит в прямом эфире: длинные, затянутые ответы в начале передачи и телеграфные в конце. По-моему, не следует шарахаться из одной крайности в другую: то все зафиксировано на пленку, то все — прямо в эфир. Я вовсе не считаю, что всякая передача от этого выигрывает, делается глубже, демократичнее, живее. По-моему, хорошо, если будет прямой КВН. А политическая передача, если она серьезна, правдива, убедительна, если при монтаже ее суть не сглаживается, вполне может записываться на пленку. Дело вовсе не в осторожности, а в возможности более обстоятельной беседы, что «работает» на содержание. Чрезмерная нервность, спешка — плохой помощник.

— Валентин Сергеевич, что вы можете сказать о наших журналистских стереотипах и зарубежных?

— Конечно, мы не свободны от стереотипов, но сейчас, при развитии нового политического мышления, совершенно очевидно, что демократичность западных журналистов весьма относительна. Они значительно больше привержены стереотипу, стереотипы их прочны, и им чрезвычайно трудно от них отказываться. В частности, в оценке нашей международной политики. Я с этим сталкиваюсь каждодневно.



Егор Владимирович ЯКОВЛЕВ — историк по образованию, он окончил Московский историко-архивный институт. Возглавлял журнал «Журналист». Много лет был корреспондентом «Известий» и в стране, и за рубежом.

Е. Яковлев — автор двадцати книг. Среди тем, над которыми работает публицист, писатель, есть тема особая: она связана с жизнью и деятельностью Ленина. Е. В. Яковлев — один из авторов телесериала «Ленин. Страницы жизни».

В августе 1986 года известный журналист стал заместителем председателя АПН, главным редактором газеты «Московские новости».

— Егор Владимирович, разделяете ли вы такую точку зрения: наша журналистика на темы внутренней жизни развивается более активно, чем международная?

— Конечно. Одна из причин этого состоит в том, что пока мы публично не анализируем просчеты в международной политике так, как это происходит с нашей внутриполитической жизнью. Международникам сейчас, по-моему, менее интересно работать. Кстати, я себя международником не считаю и потому лично оказался в более благоприятной ситуации. Сегодня нет такого вопроса зарубежных корреспондентов, на который мы не могли бы свободно отвечать, размышлять. Да, прежде нам случалось, извините, «мычать», не находилось (бывало и так) убедительного ответа на вопрос, поставленный на уровне старшего классника. Сейчас легко стало вести пресс-конференции, дискуссии и в стране, и за рубежом с нашими политическими оппонентами.

— Обязательно ли сопряжение понятий «сенсация» и «новость»? Какой смысл вы вкладываете в понятие «сенсация»? Не повредила ли нашей журналистике боязнь сенсаций?

— За 30 лет работы в нашей печати я что-то не часто сталкивался с сенсационными материалами. Более того (в этом смысле я понимаю ваш вопрос), бюрократы вытаскивают на свет это понятие, когда обвиняют нас в чем-то, что им не по душе, и не затрудняют себя аргументами. То есть понятие «сенсация» используется спекулятивно. Когда-то крупный руководитель заявил с укором главному редактору одной из центральных газет: «Утром я открываю вашу газету и не знаю, что в ней написано». Теперь это воспринимается как курьез, а за этим курьезом стоит драма...

Я тоже несколько раз слышал от людей, которым не по нраву линия нашей газеты, что мы излишне сенсационны, а между тем мы не пишем о грабежах, насилии, небывалом происшествии... Новое в наших материалах — в оценке происходящего, свежем взгляде. Мне вообще не по душе эта болтовня о некоей сенсационности и смелости прессы. Никакие средства массовой информации не сказали ничего острее, смелее, чем сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в своих выступлениях на январском и июньском Пленумах ЦК КПСС.

Без сенсации средства массовой информации полноценно функционировать не могут. Журналист, кстати сказать, должен придумывать сенсации (не факт придумывать, а именно сенсацию, в моем восприятии этого понятия), то есть искать актуальную тему, иметь свой угол зрения, свой поворот темы, возможно, неожиданный, неприличный.

— По существу, это вопрос журналистского мастерства?

— Да. Другое дело: сейчас возникает некоторый перекосяк в сторону тех тем, которых раньше не касались. Положим, прежде наша печать не писала о проститутках. Зато теперь одна газета написала, и давай все писать, с каким-то особым азартом. Возникает искусственное будоражение общественного мнения. Уверен, что так поступать незачем. Но эти издержки при перестройке неизбежны. Раньше мы в основном писали о наших плюсах, а теперь ищем путь всеобъемлющего правдивого рассказа о действительности. Важно проанализировать, отыскать корни любого общественного явления, факта, события. Это напрямую связано с гласностью. Некоторые же до сих пор понимают гласность как момент, непременно связанный со скандальным.

— Какие задачи стоят перед вашей газетой?

— Основных — три. Во-первых, мы политический еженедельник. Это означает, что каждая строчка материала — на любую тему, любого жанра — должна рассказывать об особенностях политического процесса, происходящего в нашей стране. Вторая наша задача, особенность: для газеты нет и не может быть запретных тем. Третье. Газета должна служить наведению мостов. То есть преодолению стереотипов по отношению к Западу. И наоборот — преодолению западных стереотипов в показе, восприятии нашей действительности. Мы должны рассказывать о советском образе жизни, состоянии общественного сознания.

— Скажите, есть ли в письмах советских и зарубежных читателей нечто общее — часто встречающаяся мысль, просьба, проблема, пожелание?

— Нет. Пишут нам по поводу конкретных публикаций, активность подобных конкретных откликов, по-моему, — свидетельство остроты поставленной в материале проблемы. Впрочем, я бы назвал один общий момент, часто возникающий вопрос: почему мы печатаем критические материалы? Интересно, что из-за рубежа нам об этом пишут дружелюбно настроенные люди. Смысл их замечаний такой: мы защищали вашу страну, говорили о верности вашей позиции, политики. А теперь где нам черпать аргументы?

Наивно, неверно думать, что «позиция страуса» может вывести на верный путь. Почему же нам аргументированно не говорить о недостатках, ошибках? Умалчивание, как известно, небезобидно. Толкование наших проблем политическим противником ведется заведомо предвзято. Мы в основном работаем на зарубежного читателя. Понять самих себя мы все-таки можем лучше, чем кто бы то ни было. И наш долг — рассказать о себе честно. Хотя это никак не исключает взгляда на нас со стороны.

Наша задача — объективная информация о самих себе, о нашем восприятии международных проблем.

— Есть ли отличительные черты работы наших и зарубежных корреспондентов?

— Сегодня мы более свободны, независимы, чем многие из наших зарубежных коллег. Конкретный пример. У меня брала интервью московский корреспондент одной американской газеты. Я ей предложил выступить под рубрикой «СССР. Взгляд со стороны». Она ответила, что должна для этого запросить Вашингтон, вопрос этот согласовать. Вот, пока еще согласовывает.

Есть конкретные примеры, доказывающие, как трудно достигать взаимопонимания. Я долго беседовал с одним известным американским социологом, пытался его убедить: те нарушения, которые были у нас в период застоя, — это явления, противоречащие системе социализма. Он же отстаивает свою точку зрения: появление гласности вообще несовместимо с доктриной социализма.

Сегодня необходима четкая система аргументов, правдивость каждой публикации. И на темы внутренней, и на темы международной жизни.

— В статье «Писатель и война» Хемингуэй отмечал: «Задача писателя неизменна, сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта».

Нет ничего труднее этого...

Мысль эта соотносима и с публицистом и публицистикой — наиболее отзывчивой на время, чуткой к боли и радости общества. И в глухие годы имени публицистов (редкие, правда) вселяли надежду?

— Сейчас задачи публицистики чрезвычайны. По-моему, не надо рвать на себе волосы (это ведь тоже поза, имитация страдания), но, внимательно исследуя прошлое, ошибки, не повторяя их, строить добросовестно день сегодняшний и завтрашний, правдиво разбираясь в происходящем.

Да, нет ничего труднее этого...



# 1917 • 1987

— В ТАЛЛИНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, — СКАЗАЛ ГЕНРИХ ГУСТАВОВИЧ ГУСТАВСОН МИХАИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ ГОРБАЧЕВУ НА ВСТРЕЧЕ В ТАЛЛИНСКОЙ РАТУШЕ 19 ФЕВРАЛЯ, — НАС, ЧЛЕНОВ ПАРТИИ С 1917 ГОДА, ЧЕТВЕРО... КАКИМИ ОНИ БЫЛИ! КАКИЕ ТЕПЕРЬ!



У каждого партийный стаж — свыше 70 лет!

(Слева направо) Генрих Густавсон, Хильда Андресен, Август Саулеп и Хендрик Аллик.

Нина ХРАБРОВА.  
Фото Виктора САЛЬМРЕ

## ЧЕТВЕРО

### БАБУШКИНЫ РЕВОЛЬВЕРЫ

Девяносточетырехлетняя Хильда Карловна Андресен в полном параде — светлое платье в гармонии с серебром прически, выражение лица доброе и гостеприимное: вместе с нами приехали ее давние соратники.

— Пусть они поговорят друг с другом, — предлагает старшая дочь Эрика Сергеевна, — а мы с сестрой расскажем вам все, что знаем про нашу семью. Иначе, боюсь, мама разволнуется и устанет.

...В 1905 году Хильде Андресен шел тринадцатый год.

В 1905 году по России прогремел первый вал революции. В Ревеле (старое название Таллина) в октябре того года был обстрелян революционный митинг. Девяносто четырех убитых проводили на кладбище Рахумяэ ревельские рабочие, двести раненых были спрятаны по квартирам.

Именно тогда Хильда Андресен выбрала свою единственную в жизни профессию — революционерки. Школьные годы запомнились ей не столько переходом из класса в класс, сколько деревенскими бунтами, пожарами в баронских имениях, восстанием на крейсере «Память Азова», разгромом эстонских профсоюзов, появлением в Нарве первой эстонской революционной газеты «Кийр» («Луч»).

Газета... Ее закрывали и запрещали, она выходила в разных местах и под разными названиями, и всегда в ней сотрудничала Хильда Андресен.

Накануне 1917 года и подростки сестры ее, Хельми и Лидия, тоже безоглядно кинулись в революцию. А вот отец, как ни странно, — нет. Он работал в железнодорожных мастерских и, видимо, считал необходимым обеспечивать быт трех своих дочерей-революционерок. Да кабы только дочерей! А то ведь и жена его, Анна Иогановна, обычная домохозяйка, туда же. Сначала она молча одобряла своих распространявших прокламации дочерей. Потом и сама стала ходить на митинги и сходки. Глава семьи Карл Тааветович Андресен в глубине души был согласен с поступками своих храбрых женщин,

хотя и понимал, что каждый раз они уходят в неведомое, и каждый раз неизвестно: вернутся ли?

Хильда Андресен вступила в партию в марте 1917-го. Она была уже зрелой подпольщицей — вся юность под чужим именем, в постоянном ощущении опасности... В 1918 году пришедшая к власти с помощью немецких штыков эстонская буржуазия устроила настоящую охоту за каждым, кто так или иначе был связан с рабочим движением. Круг смыкался, и в 1921-м Хильда нелегально переехала в Петроград и, конечно, занялась организацией коммунистической печати на родном языке и пересылкой ее в Эстонию. В 1920 году Эстония была объявлена буржуазной республикой. В маленькой стране с населением, едва достигшим миллиона, с 1920-го по 1939-й было проведено... 466 политических процессов. Самый жестокий — «процесс 149-ти».

В начале 20-х годов, в опасное и трудное время готовилось восстание. ...И вот тут наша бабушка Анна Иогановна, — рассказывают, дополняя друг друга, Хильда Сергеевна и Эрика Сергеевна, — проявила недюжинную отвагу и сообразительность.

...В темной, модной в двадцатых годах накидке, с желтым фанерным баулом (по-эстонски он назывался «трюмфель», и чего только в нем не перевозили и не переносили) — идет по ревельским улицам женщина. Сворачивает на рынок, подходит к возу с овощами, ставит баул на телегу, придирчиво ворошит морковь. Баул наполнен, женщина неспешно покидает рынок. Она придет сюда через день, через два — это так естественно для любой хозяйки. Но вот ночью постучат в окно, муж вздохнет обеспокоенно, в неосвещенном коридоре Анна Иогановна отбросит в сторону морковь и отдаст пришедшему... револьверы.

Их эхо будет жить долго, оно поможет эстонскому народу верить в будущее. Фактически восстание 1 декабря 1924 года потерпело тяжелую неудачу. Но оно осталось в памяти народа, и память эта вывела народ на антибуржуазные демонстрации в июне 1940 года, а в июле 93 из каждой сотни эстонских избирателей проголосовали за Советскую власть.

А с семьей Андресенов было вот что. В 1927 году все они легально, на поезде, уехали из Таллина в Ленинград, во главе с сильно полевым

к тому времени Карлом Тааветовичем. Десять лет они прожили там большой счастливой семьей, в которой все учились, работали и любили друг друга. Но пришел 1937 год и стал бить по своим. Из ссылки семья вернулась без мужчин — погибли Карл Андресен и муж Хильды, Сергей Паавель. После войны все переехали в Таллин, в конце пятидесятых годов Хильда Карловна ушла на персональную пенсию, и у нее еще долго хватало сил на общественную работу.

— Наша бабушка тоже жила долго, — говорит Хильда Сергеевна, — и, знаете, как она всегда называла свой возраст — не цифрой, а словами: «Я на два года старше Ленина».

### ВЕК КАК ДЕНЬ

Рассказывает Август Мартович Саулеп:

— Семья у нас была большая, девять детей, я старший, а земли у отца чуть-чуть, да и то болото. Лет с шести я работал в отцовском хозяйстве, а зимой где попало: в пивоварне, помощником кучера у нашего барона — то ли он Лилиенбах был, то ли Лилиенберг — не взыщите, не помню. Наработал я мускулы, с детства борясь с плугом да с нашими вечными полевыми камнями. И с коломенскую версту вымахал. Так что в 1912 году, когда мне шестнадцать лет исполнилось и я, как полагается, пошел в Ревель на заработки, взяли меня сразу молотобойцем. Только ненадолго — безработица. Устроился кочегаром на шведский торговый пароход. А тут первая мировая грянула. Снимают меня в Стокгольме через русское консульство с парохода, везут в Ревель. Снова ищу работу. Поселился я у своего двоюродного брата Юри Рястаса, а он революционер, а мне семнадцать лет. Само собой, я стал выполнять разные его, и стало быть, партийные поручения. Выпустили антивоенную листовку, призвали повернуть штыки против царизма. Я работал тогда на «Двигателе», разложил в раздевалке листовки по карманам, а также всюду, где мог, наклеил на стены. Весь 1915 год на «Двигателе» занимался разъяснением причин войны. А вечерами меня мой двоюродный-то, Юри Рястас, образовывал политически. В январе 1916-го дошло дело, наконец, до забастовки, весь завод встал, конная полиция принеслась с ней эскадрон казаков. Меня, само собой, арестовали, отправили в Красное Село под Петроград, в 176-й запасной полк, служил до августа, агитировал солдат против войны. За это меня, само собой, в маршевую ро-

ту. Перед отправкой на фронт дали три дня отлучки. Поехал в Ревель, прямо в Ревельский комитет РСДРП, получил опять же листовки, вернулся в полк, расклеил их по всем солдатским уборным. Тем временем Ревельский комитет арестовали, слух быстро в полк дошел, меня в карцер и оттуда в Старую Руссу, в 175-й запасной, в дисциплинарный батальон. «Хорошо» подоспел: там как раз следствие ведут над полковыми агитаторами. Меня опять в карцер посадили, я сижу и ни в чем не признаюсь. Ну, отправили в Петроград — сначала следственные документы, а потом меня самого — по этапу. А в Петрограде-то! На Невском митинги, очереди за хлебом, народ пытается нас освободить, но через мост на Фонтанке конвой все-таки доставляет нас в Литовский замок, заполненный забастовщиками и дезертирами с фронтов, чуть не на голове друг у друга сидим. И вот — февраль 1917-го, рабочие освобождают нас из тюрьмы, дают винтовки, откуда-то появляются красные знамена, мы с ними бегом в Петропавловку освобождаем политзаключенных. Арестовываем генералов, офицеров, освобождаем арестованных руководителей Февральской революции. И — пошло! Солдаты примыкают к рабочим, народ требует мира, свержения самодержавия, уничтожения помещичьего землевладения.

В марте 1917-го приняли меня в партию, членский билет выдали даже с партстажем — с 1914 года, с момента начала моей пропагандистской работы. Так что я, считая с 1914-го, семьдесят три года в партии, а если с момента приема, так семьдесят — столько, сколько и революции.

После выступления Ленина с Апрельскими тезисами я опять на следующий день в Ревель отправился — информировать Анвельта, братьев Рястасов, Вакмана — наших руководителей революционного движения. Через несколько дней снова уехал в Петроград. 1 мая 1917-го — еще одна встреча с Лениным, митинг на Марсовом поле, выступление перед солдатами и рабочими. Вот такие события. И вдруг посылают меня из Петрограда в распоряжение военкомата Ревеля. Там, вернее, здесь, организовались эстонские национальные полки, Анвельт и Рястас направили нас проводить большевистскую агитацию в Ревеле и Везенберге — по-теперешнему Таллине и Раквере. Мы шли с лозунгами «Мир хижинам, война дворцам!». Я занимался обучением эстонских красных частей строю и обращению с оружием. Пришло время выступать. 23 октября 1917-го мы овладели Балтийским вокзалом, телеграфом и почтой, 24-го разоружили два казачьих полка. И тут — немцы. А нас было мало, плохо вооружены... В феврале 1918-го кайзеровские войска оккупировали Эстонию. Мы с двумя матросами пешком пошли в Петроград. Там я встретился с работниками ЦК и был



послан в Новосибирск, тогда Ново-николаевск, где было много эстонцев, и я в должности инструктора райкома устанавливал органы Советской власти.

Только успел почувствовать вкус мирной организационной работы. Так нет же — мятеж чехословацкого корпуса. Арестовали меня еще с несколькими партийными товарищами, отправили под конвоем через тайгу. В дороге мы конвой разоружили, оружие отобрали и сориентировались на Красноярск, а оттуда я опять же тайгой в Новоиколаевск. Нет, никто меня не откомандировывал, просто я так понимал свой партийный долг: продолжать организационную работу. Нанимаясь там в батраки, а, так сказать, в свободное от работы время организовываю подпольные ячейки. Так до 1919 года, пока Советскую власть не восстановили. Начальником продотряда меня назначили, очень трудно было, что говорить, это всем известно — как, но все же поездка с зерном шли в Москву и Петроград... В августе 1919-го меня посылают в Петроград на военные курсы, потом в Эстонскую совпартшколу — была тогда такая в Петрограде. Курсанты ее участвовали в подавлении мятежа в Кронштадте.

Затем работал в разных отраслях на партийно-организационной работе, и опять учился — в 1929 году окончил университет национальных меньшинств имени Мархлевского. Вообще, надо сказать, мне в жизни часто везло в смысле исполнения желаний. После окончания университета второй раз еду на Дальний Восток, получил назначение в Хабаровск. На партийную работу. Участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре. Пала и на мою долю тяжелая участь — в 1937-м посадили как врага народа. До 1940-го сидел. Что больше всего обидно — в 1941-м в армию не взяли. Всю войну работал начальником рыбпотребсоюза в Комсомольске-на-Амуре. Зато моя дочь Эрнэ Саулеп воевала в звании лейтенанта. Теперь лейтенант Эрнэ уже бабушка, а я, само собой, прадед... Ну, что еще? В 1945 году был направлен на работу в Эстонию. Проездом попал в Москву в июне, как раз Парад Победы увидел. В своей родной республике до 1947-го был председателем облисполкома в Валга. Позже я работал в лесничестве. В 1956-м вышел на персональную пенсию. Жаль, времени стало не хватать, хотя работа у меня теперь только хозяйственная. Бывает, и хвори наваливаются. Живу дома в окружении молодой поросли, мне с ними хорошо. И время такое сейчас быстрое, интересное...

## ДЕРЕВО ДРУЖБЫ

«С родным городом мне повезло» — так назвал Генрих Густавсон первую главу своей книги «Вехи долгого пути». Конечно, повезло! Он родился в Нарве, в семье потомственных кренгольмских ткачей. Отец умер рано, мать Эмми Густавсон работала на старопрядильной мануфактуре чуть не с детства. Характер у нее тоже смолodu был революционный, как и у всей Нарвы. Понятие «революция» для нее было однозначно понятию «справедливость». Сыну она решила во что бы то ни стало дать образование.

Генрих Густавсон еще гимназистом был связан с Нарвским комитетом РСДРП. 12 марта члены комитета Николай Карпов, Ольга Юргенс, Константин Жарновецкий приняли его в РСДРП. Вскоре он стал красногвардейцем.

И хороши же мы тогда были — одеты кто во что горазд, оружие — с бору по сосенке, возраст — от шестнадцати до восемнадцати лет, смысл жизни один — слова Ленина о защите революции, — вспоминает Генрих Густавович, — сначала нас было двести штыков, через несколько дней — уже тысяча.

Разные у него были встречи в те годы. Например, в ночь на первое марта 1918-го он со своим подразделением нес караул на вокзале. Прибыл эшелон с кронштадтскими матросами. Густавсон отдал рапорт их командиру. Тот спросил:

— У вас тут все такие молокососы? Обиженный Густавсон молча проводил командира к руководителям обкомов Нарвы и там услышал, что командир этот — председатель Центробалта Дыбенко.

— Десять лет спустя Павел Ефимович прибыл в Среднеазиатский военный округ, где я в то время был военным комендантом станции Ташкент. Представляя Дыбенку, он улыбается доброжелательно, руку жмет. Тут я и напомнил ему наше нарвское знакомство и «молокососов». Дыбенко расхохотался и сказал:

— Ну и злопамятный ты мужик! 7 ноября 1917 года Густавсон был еще в Нарве. А Нарва с февраля не выпускала из рук народную власть, никакого двоевластия не возникало. Все прошло почти всюду в организованном порядке. 8 ноября был создан военно-революционный комитет. Красногвардейцы, в их числе Генрих Густавсон, отвечали за безопасность Советской власти.

В начале 1918-го немцы подошли к нарвским рубежам, начались ожесточенные бои. Второго марта, в последний день сражений, Густавсон был ранен и с застрявшей в груди пулей отправлен в лазарет в Петроград.

— И тут объявилась мама — приехала в Петроград, поселилась у своей сестры и каждый день приходила ко мне в больницу. Выходила. И больше от меня не уезжала.

— Так и ездил с вами по всем фронтам?

— В основном. И по стройкам мирного времени.

...Формирования, переформирования. Бои в Ярославле, под Дно, под Смоленском. Астрахань, Туркестан. Походы против басмачей.

Но вот кончились бои. Началась служба на железной дороге. Густавсон говорит:

— Люблю слово БАМ. В каждой корреспонденции о нем ищу мой БАМ — стройку второй пятилетки. Отрезок пути по берегу Лены Тайшет — Качуг — часть теперешнего БАМа.

Еще одно воспоминание:

— Был я в Бухаре на 1-м курултае, присутствовал при создании Бухарской народной советской республики. После курултая пили зеленый чай с моим старым другом, кузнецом Саидом. Слушал восточные застольные речи, запомнил короткое слово Саида:

— У нас на Востоке говорят: «Ты напрасно прожил жизнь, если не посадил ни одного дерева». Советская власть посадила и вырастила у нас в стране самое драгоценное дерево — это дерево дружбы народов.

## К ВОПРОСУ О ПОРОХЕ

В начале двадцатых годов известная эстонская революционерка, публицистка Альма Ваарман и Хендрик Аллик были членами эстонского буржуазного парламента от Единого трудового фронта.

«Я всегда восхищалась Алликом, — пишет Альма Ваарман в своих воспоминаниях в газете «Рахва Хяэль», — но пуще всего я любила его в дни заседаний Государственного собрания, в июле — августе 1923 года. 26 июля на заседании обсуждался запрос коммунистов о нападении воинских частей на первомайскую демонстрацию в Тарту. Слово взял Хендрик Аллик.

— Здесь военный министр сказал, что 1 Мая будто бы рабочий праздник. Разъясняя: не будто бы, а действительно, и был праздником задолго до того, как господин Соотс стал военным министром, и будет еще долго после господина военного министра. Я прекрасно помню, как в 1921 году перед 1 Мая господа офицеры набивали чемоданы, опасаясь, что коммунисты придут к власти и надо будет очень быстро бежать в гавань на заграничные пароходы (руководитель заседания делает Аллику первое замечание).

Аллик продолжает:

— Придет время, когда эта самая армия, которую вы сейчас науськиваете на рабочих... (председатель лишает Аллика слова).

2 августа 1923-го. Рассматривается вопрос о смене главы правительства, на место Кукка ставят Пятса. Аллик берет слово, говорит, что никаких сомнений не может быть в том, что это «новое» правительство пойдет старой тропой, помеченной могильными холмами после расстрелов в осинниках Изборска, в Рахумяэ, в болотах Сеамяэ (председатель собрания призывает Аллика к порядку).

Сама Альма Ваарман никогда за словом в карман не лезла, и меньше всего ей свойственна чувствительность. Но в воспоминаниях она пишет: «...я помню время, когда Аллика призвали в буржуазную армию, он «служил», то есть вел среди солдат пропаганду, а нам его сильно не хватало, и Виктор Кингисепп сказал: «Ничего, скоро наш златоуст отслужит и будет с нами». И дальше: «Как много осталось бы несделанным без Аллика! Насколько беднее были бы мы без него... К счастью, коммунист Аллик не меняется, не стареет, не устает...»

...Как знать, может быть, физиологи когда-нибудь откроют ген одаренности и люди сумеют обойтись с ним бережно. Сейчас Хендрик Аллик — один из самых одаренных людей его одаренного поколения.

Кто он?

Родился в 1901 году в крестьянской семье. Рано осознал себя личностью. Стал искать путей к справедливости — быстро оказался в самом кипении левых общественных сил. Приехал в Таллин — социал-демократы не понравились, эсеры не понравились. Зато действия и лозунги большевиков сразу пришлись по душе. Однажды на митинге Аллик в одиночку полез в драку с эсерами, и был бы ими изрядно поночен, если бы такой же отчаянный и уверенный в правоте РСДРП русский матрос не помог своими кулачищами.

— Раскидав эсеров, мы сочувственно посетили синяки друг друга — и расстались навсегда. А чувство лонга осталось.

Еще он рассказал, что в 1917 году у статуи царя Петра, стояла тогда на Петровской — ныне площади Победы, — все лето в руке развевалось красное знамя.

— Блестители порядка снимали, а мы каждый раз снова прикрещивали: во-первых, долой царизм и да здравствует пролетариат; а во-вторых, Петр был по-своему царь-бунтарь, по хватке свойский парень.

Дальше:

— В партию я вступил как раз за две недели до Октября. Принимал меня рабочий Балтийской мануфактуры Яак Якобсон, я заплатил первый взнос. Почувствовал, как жизнь прочно вошла в надлежащее русло, и пошел действовать, ибо события 1917 года беспрестанно призывали к действиям. В феврале участвовал почти ежедневно во всех рабочих демонстрациях. В марте после митингов освободил политзаключенных из тюрьмы «Толстая Маргарита». В военноморском суде, в судебной палате — всюду, где находил, уничтожал вместе с другими рабочими документы политзаключенных. Писал статьи во все революционные газеты, а было мне шестнадцать лет.

Он рассказывал о 1917-м, и чувствовался в его рассказе гул, цвет и пороховой запах этого года.

Подожел 1918-й.

— Новый год встречали замечательно! На столе чай и какое-то заплесневевшее печенье — голодно-то было в городе. А за спиной у каждого крылья: мы говорили об Октябрьской революции, о ее дальнейшем развитии, ведь люди мира сразу поймут, что социализм — это спасение от всех бед и зол, это мир, хлеб, образование, наука, счастье уметь мыслить... Право, я, наверное, подражал бы, скажи мне тогда, что семьдесят лет спустя нам снова придется обсуждать проблемы очищения общества от разного шлака.

Он был одним из руководителей восстания 1 декабря 1924 года, и буржуазная юстиция на «процессе 149-ти» приговорила его к пожизненной каторге. Началась долгая тюремная жизнь.

В истории коммунистического движения в Эстонии время после декабрьского восстания называется «периодом безмолвия». Действительно, компартия была разгромлена, народ в растерянности. Но не было безмолвия в камерах мужских и женских тюрем, где содержались политзаключенные по «процессу 149-ти». А ведь от приговора можно было прийти в отчаяние. Но они... стали учиться — кто философии, кто экономике, иностранным языкам: время от времени к ним с воли переправляли книги. И, конечно же, они организовали партийную ячейку — как это было, тема для отдельного разговора. Аллик был одним из редакторов газеты «Вангла Кийр» («Тюремный Луч») и членом Тюремного бюро, руководящего органа политзаключенных (!). В 1938 году их освободили по амнистии. Буквально на следующий день они встретились и создали Нелегальное бюро Эстонской коммунистической партии. С 1938-го по 1940-й Хендрик Аллик — секретарь Нелегального бюро, один из руководителей Июньской революции; во время войны — политработник и организатор эстонских воинских соединений; с 1943-го по 1950-й — заместитель Председателя Совета Министров ЭССР (во время войны — в тылу).

С 1950-го у Аллика, как он говорит, был «перерыв в работе». Хендрик Хансович не любит говорить об этом «перерыве», и, чтобы не огорчать его, скажу: это время в Эстонии было как бы отголоском 1937 года. Наверное, выяснится когда-то, кто был фактически повинен в этом, а пока стыдно смотреть Аллику в глаза.

И снова список руководящих выборных должностей, наград, среди которых два ордена Ленина.

Возвращаясь к воспоминаниям Альмы Ваарман, к тем строчкам, где она пишет, что все мы были бы беднее без Аллика, хочется добавить и в материальном смысле республика была бы беднее, потому что много лет Хендрик Хансович в разных должностях руководил эстонской экономикой. Он и теперь как бы начинен прекрасным, всегда сухим порошком действия, поступков, споров. Наверное, есть в его характере немало скоропалительного. В характере — но не в действиях. Тут он становится таким типичным эстонским крестьянином, который семь раз отмерит, прежде чем отрезать. Недаром эстонская экономика долгое время развивалась без рынков и паники.

...Уходя из кабинета Хендрика Аллика, говорю в шутку, что каждый раз уношу отсюда хороший заряд оптимизма.

— А-а, — откликается Хендрик Хансович, — это, оказывается, вы уносите. Теперь ясно, почему я такой мрачный оптимист. Но подождите-ка. Помните, чем вы закончили очерк, напечатанный в «Огоньке» в 1983 году? Тем, что тогда на встрече ветеранов в ЦК КПСС говорилось о необходимости улучшить руководство экономикой, начинать борьбу с пьянством, обратить внимание на искривления в духовном мире молодежи. Но тогда по ряду причин это не было сфокусировано, сконцентрировано в той мере, как теперь, и поэтому — воспользуемся еще раз моим оборотом речи — не хватило тогда пороха. В феврале, во время поездки Михаила Сергеевича Горбачева в Эстонию я задал Генеральному секретарю вопрос (встреча транслировалась по телевидению): хватит ли теперь пороха? Михаил Сергеевич ответил: «Будем идти дорогой январского Пленума — все осилим!» Мы, ветераны, это поддерживаем, опираясь на свой партийный опыт и голос совести, как всегда поддерживали все доброе и светлое. Работа предстоит большая. Но, знаете, тогда на меня пахнуло ветром 1917 года.



# КУЗНЕЦОВ НА КУЗНЕЦКОМ

Он сидел на низеньком диванчике между первым и вторым залом, еще не предсмертный, а очень, судя по стремительному, проникновенному и цепкому взгляду, живой. В коричневом

костюме, коричневых башмаках, концы которых по-старомодному немного загибались кверху. Его лицо, кисти рук и башмаки производили впечатление прочности, неизношенности. Он сидел, скрестив ноги, рядом молчаливая красивая дама что-то заносила в записную книжку.

Я сразу узнал его. Отяжелевшее от времени, но не одутловатое лицо сохраняло черты молодости. Я узнал его по портрету, по глазам. Внешне он мог сойти и за человека любой другой интеллигентной профессии. Лишь мягкий бантик под подбородком намекал на причастность к искусству.

По залам бродило несколько человек, в том числе и я. Иного слова не подберешь: именно бродило. Мы до сих пор как-то не удосужились научиться у старшего поколения культуре общения с картиной. Мы не всегда умеем выбрать нужную, а не только удобную точку. Обычно мы выбираем самую удобную для себя, но не самую верную. Правильное представление о картине дает лишь одна точка, которая, несомненно, существует в пространстве и которая является постоянной до тех пор, пока картина висит на стене.

Умение отыскать эту точку — искусство зрителя. А мы стремимся разглядеть детали, боимся упустить частности и почти постоянно лишаем себя удовольствия наслаждаться целым. Но ведь только целое дает истинное представление, дает полноту ощущений. Знакомство с частностями, с деталями поселяет у нас иллюзию знакомства с картиной, уводит в сторону от переживания ее. Мы разглядываем картину, как гравюру, вплотную и нередко пожимаем плечами в недоумении. Иногда в музее меня охватывает желание громко крикнуть: отойдите от Сезанна, от Кузнецова, от Фалька, от Кончаловского, и вы перестанете удивляться. Отойдите, не бойтесь! Вы все поймете, все разглядите.

Кузнецов писал для людей, не боящихся отойти от стены. Для людей, воспринимающих живопись целостно.

Кем только его не называли!

«Русским гогенидом». В период «степей и верблюдов» — ориенталистом. Мастером, сохранившим навсегда отзвук «мусатовского тона».

Существовал Кузнецов, потянувшийся к Ледовитому океану, при-

несший на себе в Москву порывы полярного ветра. Но этот Кузнецов так и остался никому не известен. Позже появился Кузнецов «Четырех искусств». Да каких только Кузнецовых не существовало!

Существовал и «парижский» Кузнецов. Кузнецов, потянувшийся к Сезанну и преодолевший его. А. Эфрос верно заметил, что нет истинного художника, которого бы не захватила сезанновская «буря». Мощным, самобытным талантам удалось ее выдержать. Но шрамы от борьбы с великим французом остаются навсегда. «Сезанн! О, я почтительно следую мимо...» — приводит слова Валлатона критик.

Волга и русские просторы сказались в мощи и долговечности его дарования. Он принадлежал к той могучей поросли, которую дали саратовские места нашему искусству: Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Матвеев и, наконец, Кузнецов.

Его выставочная биография началась на заре XX века, а закончилась в середине шестидесятых годов. После смерти мастера кузнецовские полотна каждый день и каждый час доказывают свое право на бессмертие, на почетную «стенку» в национальной сокровищнице советского искусства.

Такова действительность. И с этим ничего не поделаешь, да, может быть, и не надо.

И все же сезанновская «буря»!

И здесь то, что мы называем самобытностью таланта, самобытностью личности, закономерно выдвигается на первый план. Не это ли заставило Милиоти, говоря об «индивидуализме» и «индивидуальности», начать с Павла Кузнецова.

Кузнецов победил Сезанна. Разумеется, не самого Сезанна, а сезанновское видение в себе. На нем остались шрамы. Шрамы были заметны всегда: «сезанновская предметность предмета!» Вот самый глубокий шрам. Но шрамы не свидетельство слабости, немощи, а свидетельство силы. В искусстве существует Кузнецов как абсолютно независимое, самостоятельное тело. Как личность, как глубоко оригинальное, национальное, русское явление.

Некогда в среде живописцев художника звали Паоло. Но он остался Павлом Кузнецовым, уроженцем саратовских раздолей. Это очень важно для понимания взаимоотношений Павла Кузнецова с европейской школой живописи, в частности с французской. Ведь в декларации Общества художников «Четырех искусств», в которое входили такие яркие самобытные таланты, как Кузнецов и Сарьян, Петров-Водкин и

Малевич, Фаворский и Митурич, Купреянов и А. Гончаров, Матвеев и Мухина, Щусев и Эль Лисицкий, указывалось: «В условиях русской традиции считаем наиболее соответствующим художественной культуре нашего времени живописный реализм. Самой для себя ценной считаем французскую школу как наиболее полно и всесторонне развивающую основные свойства искусства живописи».

Многие из названных художников составляют гордость не только советского, но и мирового искусства. Суть Кузнецова, его сердцевина заключалась в самобытности, в том, что Кузнецов, несмотря на обилие пластов и манер в творчестве, всегда был и остается русским мастером. Именно поэтому его живописная культура имеет мировое значение.

Все, что удалось собрать, висело в трех залах. Выставка не огромна, но масштабна. Кузнецов всю жизнь трудился с такой интенсивностью, что и большее помещение оказалось бы в пору. Первый, наиболее светлый зал выглядел очень гармонично, особенно плоскость, противоположная входу. Ясно, что выставка — Кузнецов в отрывках, Кузнецов в извлечениях. Извлечениях из времени. Но вместе с тем возникало ощущение единого организма, органичности, наконец, некоего целого, существующего независимо ни от чего. Независимость — вот что бросалось в глаза. Независимость тона, цвета, цветовых соотношений. Затем независимость композиционных приемов. Независимость воспринималась как оригинальность, а не как спор или вызов. Ничего вызывающего.

Помнится, картины висели в ряд, то есть экспозиция была линейной, но в ней ясно читался цветовой узор.

Нелегкая жизнь кончалась, художник подводил итог.

Он придавал огромное значение собиранию своих работ, периодизации, экспонированию «разного» Кузнецова. И первые слова, которые я от него услышу после знакомства, будут содержать следующую мысль, мысль-надежду: когда наступит время для новой выставки...

Он все время сидел в одиночестве, если не считать молчаливой дамы с записной книжкой в руках. Он сидел и смотрел, не отрываясь, в угол.

Я не стану предполагать, о чем думал Кузнецов. Не люблю зыбкую почву догадок, хотя во многих случаях это плодоносная почва. Он мог думать о верблюдах или океанских волнах, об Эйфелевой башне или завожских лугах, о своем детстве или о статье, посвященной обществу «Четыре искусства», которая вышла по-

сле его смерти в журнале «Творчество». Он мог думать о тарусской могиле Борисова-Мусатова, о своих друзьях — живых и мертвых, о зрителях, которые, к сожалению, приходят на выставку во второй половине дня, когда свет уже не тот. Да мало ли о чем мог думать старый мастер, сидя на низеньком диванчике между первым и вторым залом выставки, которую он ждал достаточно долго.

Он опускал глаза, когда рядом с ним появлялся человек, а потом снова поднимал их и устремлял в одну точку. Его глаза сохраняли выражение, как на раннем портрете. Немного упрямое, пронзительное.

Я вспомнил, что могу указать, где сейчас хранится один из его довоенных холстов — «Две корзины». Я подробно описал картину. Он медленно вымолвил: осень, одна тысяча девятьсот тридцать девятый год.

Он поднялся, взял меня под локоть. Он не стал расспрашивать, хотя я по глазам чувствовал, что он ждет продолжения. Очевидно, от предвоенного периода не много осталось. Совсем мало, подтвердил он.

Когда бросаешь взгляд на «Две корзины», сразу обнаруживаешь некое несоответствие. Цветам не хватает «воздуха». В полотнах же Кузнецова всегда много простора.

Композиции Кузнецова тяготеют к монументальности. Увеличьте его холсты с помощью внутреннего зренья, и они не проиграют, а приобретут новые черты.

Сравните композиционные приемы Кузнецова и Кончаловского, и вы поймете, что раму последнего не стоит раздвигать. Рама Кузнецова подвижна. Это не достоинство Кузнецова и не недостаток Кончаловского. Это их качества. Никто не говорит о тяготении к монументализму у Ван Гога или Утрилло, Сислея или Моне. Их удовлетворяют размеры холста.

Тяготение к монументальности не похвала, не отличительный знак, не орден, не индульгенция. Это — качество. Речь здесь идет прежде всего об организации пространства, его конструкции. Отсюда — простор, отсюда — воздух.

...В июне сорок первого года, когда немецкие самолеты пикировали на Киев, «Две корзины» сорвались от сотрясения со стены, и вешать их обратно не имело смысла. Никакого. Картина стояла на полу, и по вечерам, в сумерках, чудилось, что между книжным шкафом и столом стоят две корзины с полевыми цветами. Если смотреть долго, то горло щеко-тал запах свежести.

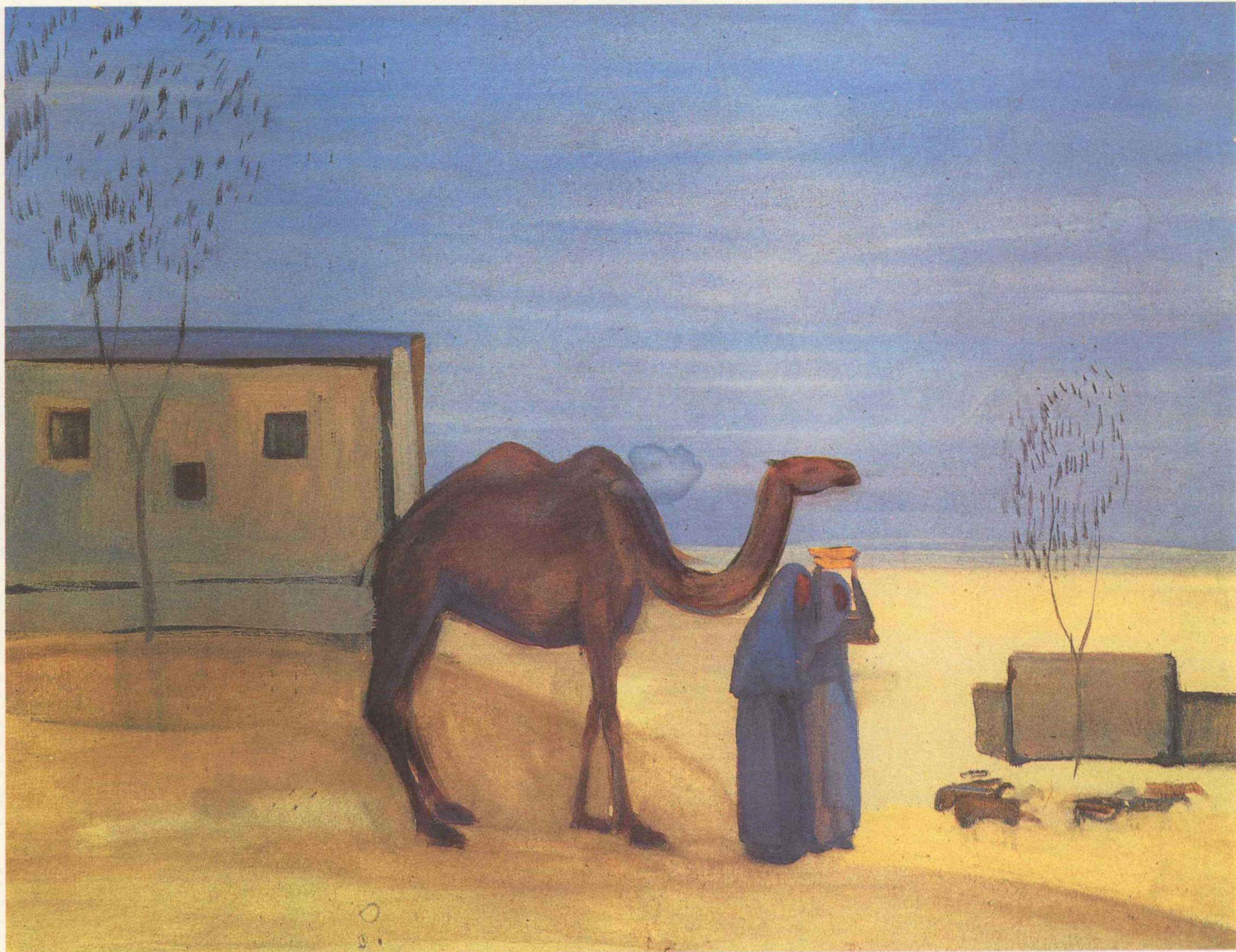
Потом назначили день эвакуации, и родные упаковали два чемодана с





П. В. КУЗНЕЦОВ.  
1878—1968.  
СБОР ХЛОПКА. 1931.





летними вещами. Усатый дед, день-деньской сидевший у подъезда, уверял, что они, то есть немцы, продвинулись в глубь нашей территории на двадцать пять километров, а мы в глубь ихней — на двенадцать. Может, где-нибудь так и было. Я охотней верил деду, чем радио и любым другим слухам.

Потом на рассвете прикатила машина. Хорошо знакомый шофер, но уже облаченный в военную форму, командовал родным: пять минут на сборы!

Пока шофер понукал родных, он обратил внимание на «Две корзины», стоящие под стеной. Он видел и раньше их, но, залитые ранним киевским солнышком, они выглядели, наверно, более притягательно, чем в обычный день. Семейное предание сохранило фразу шофера: зачем пропадать такой красоте?

Выставить подрамник из рамы, снять холст, завернуть в газету и обвязать шпагатом ловким рукам дело недолгое. «Две корзины» благополучно добрались до вокзала, но здесь в суматохе их вновь забыли. И картина вместе с шофером отправилась в свою вэзэ. С этого дня начался боевой путь картины. Машина колесила по дорогам Украины. Ее бомбили, в нее стреляли, за ней гнались немецкие мотоциклисты. Она возила разных людей, а картина лежала внутри, в ее недрах, никому не мешая, никого не тревожа, молча. Однако она присутствовала. И присутствие

В СТЕПИ. 1913.

ее выразилось в том, что шофер, который, безусловно, не знал фамилии Кузнецова, не знал, что она принадлежит кисти крупного художника, сшил для нее из куска брезента футляр.

Интересно, как он к ней относился? Разворачивал ли он полотно когда-нибудь? Весьма вероятно. Даже, наверно. Но не будем об этом писать утвердительно, ибо мы не знаем. Не встанем на зыбкую почву догадок. Но сам факт внимательного ухода за холстом летом сорок первого года кажется нам чрезвычайно важным и знаменательным!

Весной сорок второго года шофер встретил владелицу картины после концерта, который давала бригада артистов в прифронтовом лесу. Шофер вспомнил про тоненький рулон и вернул его. И холст начал свой но-

Продолжение см. на вкл. 3.

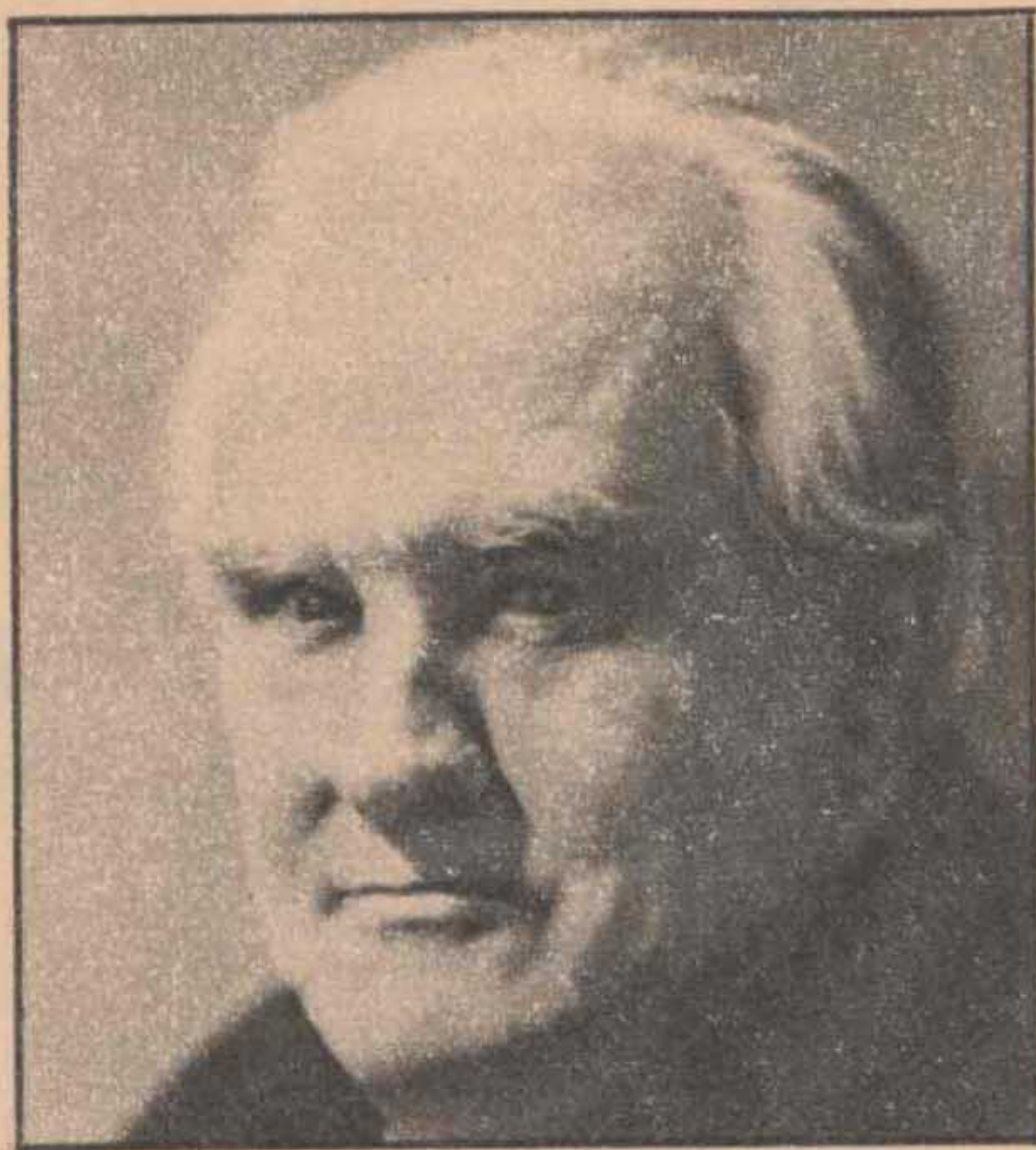
НАТЮРМОРТ. 1917.

Государственная Третьяковская галерея.





# Николай ТИХОНОВ (1896—1979)



Выдающийся советский поэт. Участвовал в первой мировой войне — был гусаром, во время гражданской войны служил в Красной Армии. Тихонов вошел в поэзию прочно и навсегда буквально в два года — поэмой «Сами» (1920), книгами «Орда» (1922) и «Брага» (1922). Стихи Тихонова, и особенно его баллады, пожалуй, ни к кому так не близки, как к Кипплингу, хотя стихи Кипплинга переводились тогда мало и неизвестно, читал ли их Тихонов по-английски. Отечественный генезис Тихонова — это, несомненно, Гумилев. Например, строки Гумилева: «И, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его» — звучат, как строки тихоновской баллады. Другим, наиболее ярким взлетом Тихонова был его сборник «Стихи о Кахетии» и его переводы из грузинских поэтов. Во время блокады Ленинграда Тихонов написал широко прозвучавшую тогда поэму «Киров с нами». После войны наиболее интересные поэтические всплески Тихонова можно найти в стихах о Югославии. «На зимнем рассвете, — так рано, — чуть розов был утренний дым. Зеленое пламя Ядрана открылось пред сердцем моим»... Н. С. Тихонов, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». До конца своей жизни он был председателем Советского комитета защиты мира.

\*\*\*

Огонь, веревка, пуля и топор,  
Как слуги, кланялись и шли за нами,  
И в каждой капле спал потоп,  
Сквозь малый камень прорастали горы,  
И в прутике, раздавленном ногою,  
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,  
Колокола гудели по привычке,  
Монеты вес утратили и звон,  
И дети не пугались мертвецов...  
Тогда впервые выучились мы  
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

\*\*\*

Мы разучились нищим подавать,  
Дышать над морем высотой соленой,  
Встречать зарю и в лавках покупать  
За медный мусор золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,  
И рельсы груз проносятся по привычке;  
Пересчитай людей моей земли —  
И сколько мертвых встанет в переключке.

Но всем торжественно пренебрежем.  
Нож сломанный в работе не годится,  
Но этим черным сломанным ножом  
Разрезаны бессмертные страницы.

## БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Спокойно трубку докурил до конца.  
Спокойно улыбку стер с лица.  
«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»  
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:  
«С якоря в восемь. Курс — ост.

У кого жена, дети, брат —  
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан.  
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой  
Смотрел на солнце над водой.

«Не все ли равно, — сказал он, — где?  
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:  
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:  
Крепче б не было в мире гвоздей.

## БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ

Локти резали ветер, за полем — лог,  
Человек добежал, почернел, лег.

Лег у огня, прохрипел: «Коня!» —  
И стало холодно у огня.

А конь ударил, закусил мундштук,  
Четыре копыта и пара рук.

Озеро — в озеро, в карьер луга,  
Небо согнулось, как дуга,

Как телеграмма, летит земля,  
Ровным звоном звенят поля.

Но не птица сердце коня — не весы,  
Оно заводится на часы.

Два шага — прыжок, и шаг хроمال,  
Человек один пришел на вокзал.

Он дышал, как дырявый мешок,  
Бокзал сказал ему: «Хорошо».

«Хорошо», — проревел ему паровоз  
И синий пакет на север повез.

Повез, раскачиваясь на весу,  
Колесо к колесу, колесо к колесу.

Шестьдесят верст, семьдесят верст,  
На семьдесят третьей — река и мост.

Динамит и бикфордов шнур — его брат,  
И вагон за вагоном в ад летят.

Капуста, подсолнечник, шпалы, пост,  
Комендант прост, и пакет прост.

А летчик упрям и на четверть пьян,  
И зеленою кровью пьян биплан.

Ударили в небо четыре крыла,  
И мгла зашаталась, и мгла поплыла.

Ни прожектора, ни луны,  
Ни шороха поля, ни шума волны.

От плеч уж отваливается голова,  
Тула мелькнула — плывет Москва.

Но рули заснули на лету,  
И руль высоты проспал высоту.

С размаху земля навстречу бьет.  
Путая ноги, сбегался народ.

Сказал с землею набитым ртом:  
«Сначала пакет — нога потом».

Улицы пусты — тиха Москва,  
Город просыпается едва-едва.

И Кремль еще спит, как старший брат,  
Но люди в Кремле никогда не спят.

Письмо в грязи и в крови запеклось,  
И человек разорвал его вкось.

Прочел, о френч руки обер,  
Скомкал и бросил за ковер:

«Оно опоздало на полчаса,  
Не нужно — я все уже знаю сам».

## ГУЛЛИВЕР ИГРАЕТ В КАРТЫ

В глазах Гулливера азарта нагар,  
Коньяка и сигар лиловые пути, —  
В ручонки зажав коллекции карт,  
Сидят перед ним лилипуты.

Пока банкомет разевает зев,  
Крапленой колодой сгибая тело,  
Вершковые люди манжеты надев,  
Воруют из банка мелочь.

Зависть колет их поясицы,  
Но счастьем Гулливер увенчан, —  
В кармане, прически помяв, толпится  
Десяток выигранных женщин.

## ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

# РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Что с ними делать, если у каждой  
Тело — как пуха комок,  
А в выигранном доме нет комнаты даже  
Такой, чтобы вбросить сапог.

Тут счастье с колоды снимает кулак,  
Оскар Гулливера, синяя, худеет,  
Лакеи в бокалы качают коньяк,  
На лифтах лакеи вздымают индеек.

Досадой наполнив жилы круто,  
Он — гордый — щелкает бранью гостей,  
Но дом отбегает назад к лилипутам,  
От женщин карман пустеет.

Тогда, осатанев от винного пыла,  
Сдувая азарта лиловый нагар,  
Встает, заноса под небо затылок:  
«Опять плутовать, мелюзга!»

И, плюнув на стол, где угрюмо толпятся  
Дрянной, мелконогой земли шулера,  
Шагнув через город, уходит шататься,  
Чтоб завтра вернуться и вновь проиграть.

## ЦИНАНДАЛИ

Я прошел над Алазанью,  
Над причудливой водой,  
Над седою, как сказанье,  
И, как песня, молодой.

Уж совхозом Цинандали  
Шла осенняя пора,  
Надо мною пролетали  
Птицы темного пера.

Предо мною, у пучины  
Виноградарственных рек,  
Мастера людей учили,  
Чтоб был весел человек.

И струился ток задорный,  
Все печали погребал:  
Красный, синий, желтый, черный,  
По знакомым погребам.

Но сквозь буйные дороги,  
Сквозь ночную тишину  
Я на дне стаканов многих  
Видел женщину одну.

Я входил в лесов раздолье  
И в красоты нежных скал,  
Но раздумья крупной солью  
Я веселье посыпал.

Потому, что веселиться  
Мог и сорванный листок,  
Потому, что поселиться  
В этом крае я не мог.

Потому, что я прохожий,  
Легкой тени полоса,  
Шел на скалы непохожий,  
Непохожий на леса.

Я прошел над Алазанью,  
Над волшебной водой,  
Поседелый, как сказанье,  
И, как песня, молодой.

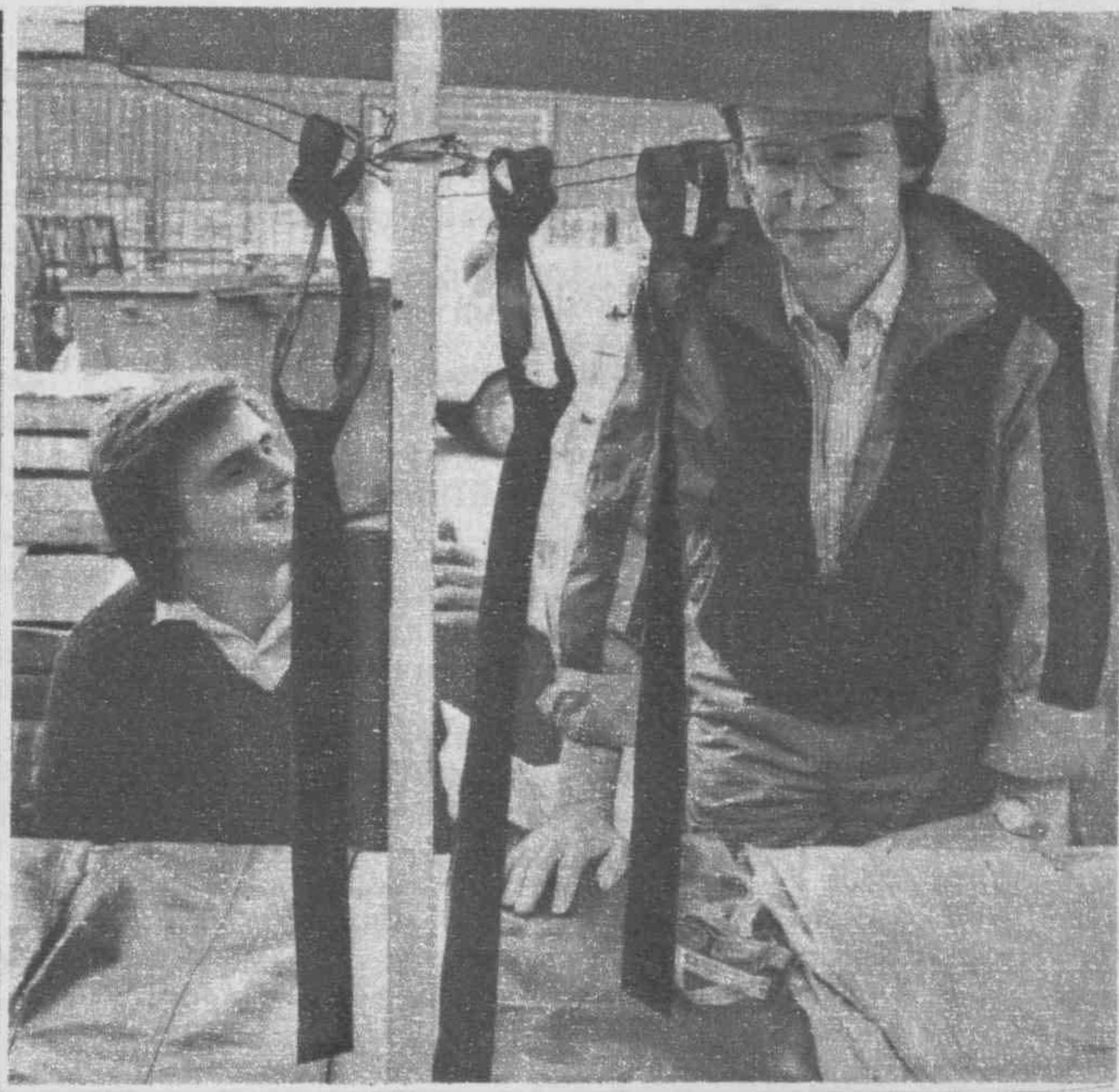


# КОНКУРЕНТЫ

# И ПОКЛОННИКИ

СТОЛИЧНЫЙ ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ РЫНОК В АВГУСТОВСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. НО НЕ ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ЛЕТА ОСТАНАВЛИВАЮТ ВНИМАНИЕ, НЕТ...

СЮДА ПРИНЕСЛИ СВОИ ИЗДЕЛИЯ ТЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, — ВЕЩИ МОДНЫЕ, ЭЛЕГАНТНЫЕ, И, ЧТО ОСОБЕННО РАДУЕТ, С ХОРОШИМ ВКУСОМ ИСПОЛНЕННЫЕ.



**В**арёнки? Нет, в магазинах их не бывает. Только здесь и купишь.

— Бабушка, вот они, варёнки! — И через минуту пожилая дама держит в руках то, что внук назвал «варёнками».

Варёнки — это брюки, куртки и юбки, сшитые, на мой взгляд, по типу джинсовых, но из ткани особо расцвеченной. Придирчиво рассматриваю: красиво, добротно... Вижу, что и покупателям нравится.

На одном из прилавков — неожиданное многоцветье ситцевых платьев. Прицениваюсь, каждое — двадцать рублей.

— Не обижайтесь, но нет одинаковых, — извиняется перед покупательницей Альбина Забельскине, приехавшая сюда из Каунаса.

Узнаю, что у Альбины две дочери, платья ей помогала шить старшая.

Продавцы, охотно вступающие в разговор, увидев фотокамеру, вдруг «закрылись», просили не называть в журнале их имена, а уж фотогра-



фии — боже упаси! Почему? Думаем, это будет ясно из тех мини-интервью, которые удалось взять.

— Артист балета, правда, в прошлом, мне 47 лет. Не удивляйтесь, эти модели я сам разработал, сам кроил, сам строчил на «Веритасе». Что за ткань, спрашиваете? Плотный хлопок, фланель. Крашу или, наоборот, осветляю тоже сам. Потом — варю, чтобы модные разводы и пятна появились. Отсюда и название — варёнки.

Мое пожелание? Открыть магазины, которые могли бы оптом закупить мою продукцию...

— Сашей меня зовут. Фамилию умолчу — пропечатаете, друзья на смех поднимут.

В чем наше преимущество? Хотя бы в том, что мы в отличие от магазина заинтересованы продать товар. Найдете ли вы в магазине брюки пятого роста? Сомневаюсь. А у нас, пожалуйста, заказывайте. Можете примерить (правда, покупатель вынужден изворачиваться, нет примерочных на рынке). Не подошло — подгоним.

А беда у нас, кустарей-индивидуалов, общая: нет фурнитуры. Рыщем в поисках «молний», заклепок, пуговиц.

— Покатилова Любовь Васильевна, художник-оформитель.

Веду кружок «Дизайн» в ДЭЗе № 3 клуба «Современник». С детства люблю шить. Мои модели только в единственном экземпляре. Обычно сдаю в салон, но вот появилась новая возможность — опробовать модель на рынке, выявить спрос, конъюнктуру, почувствовать, что нравится, что не нравится покупателю.

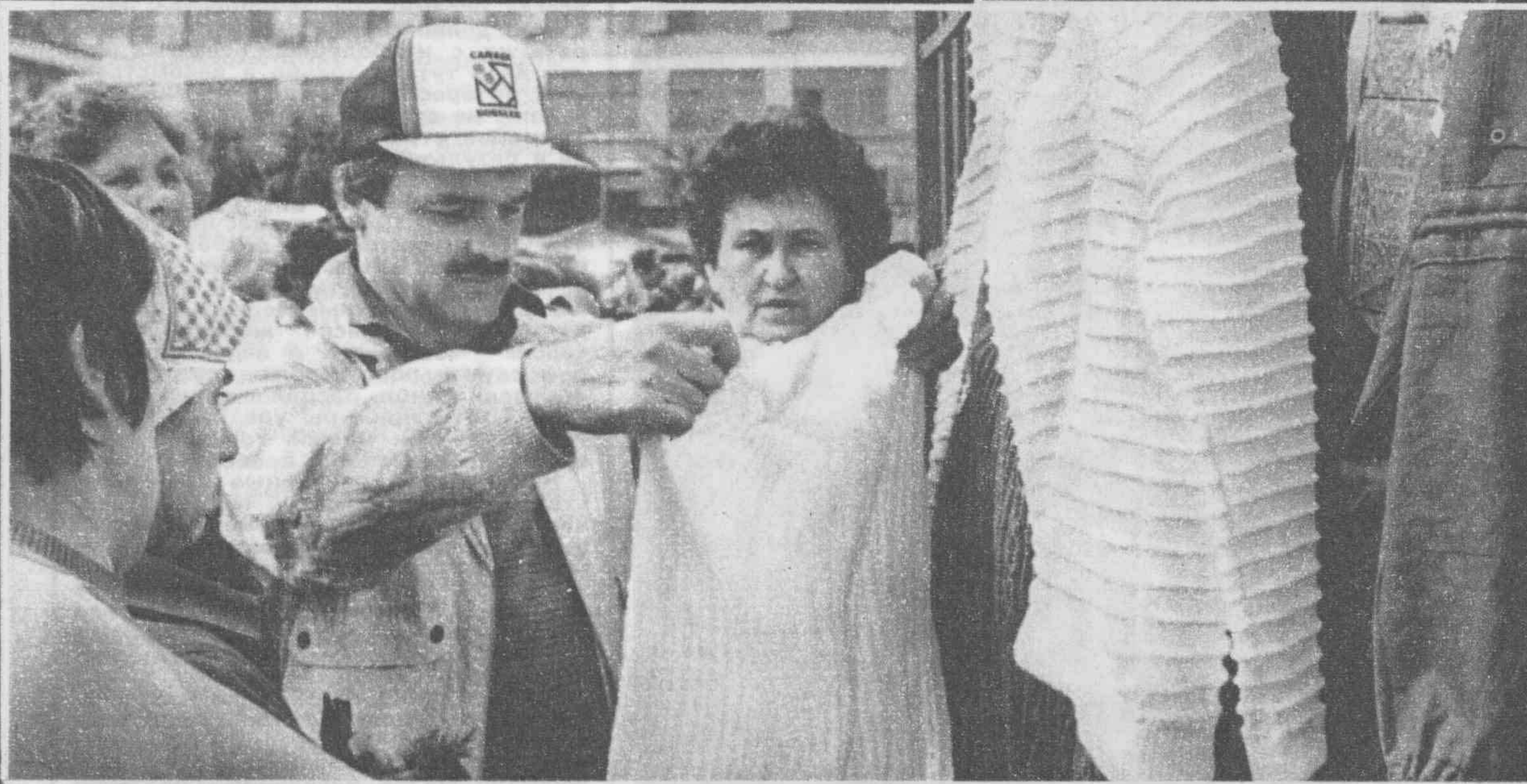
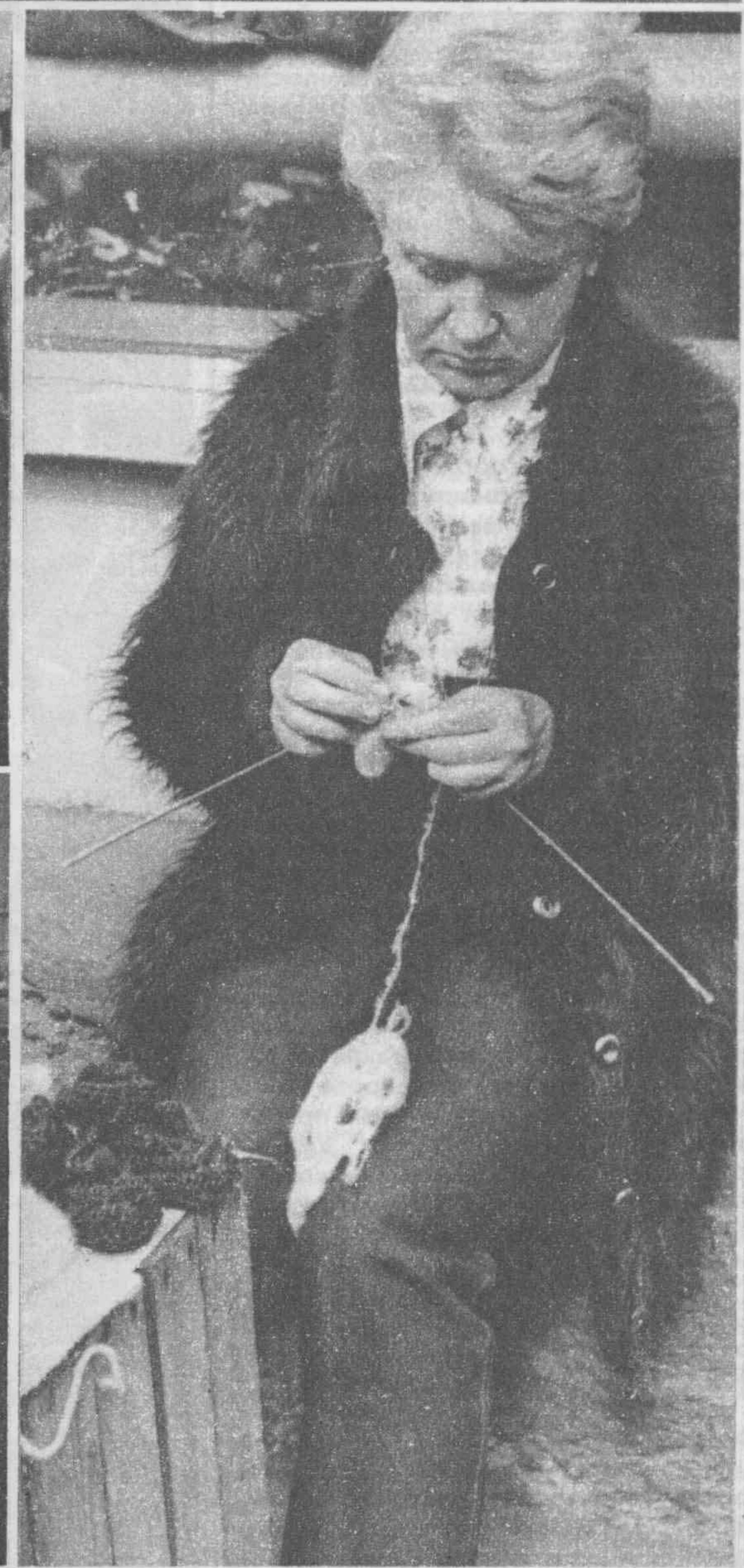
Выгодно продавать? Конечно. Я комбинирую ткани, использую остатки.

Есть и претензии к рынку. Товар принято, как говорится, показывать лицом. Разложить, развесить. А где? Администрация, видимо, об этом не думает.

— Григорий Гаевский, инженер. Окончил институт три года назад. Знаете, какой оклад у начинающего инженера? А кроме того, у меня интерес к новому делу прорезался: что же есть ИТД? Надо, думаю, попробовать, тем более что шить я люблю. Стал «итэдэшником», как мы себя называем.

Завоевать покупателя совсем не значит идти у него на поводу. К примеру, подходят подростки, просят нашить лейблы — фирменные ярлыки, чтобы брюки, купленные у меня, воспринимались как заграничные. Я отказываюсь: вкус надо воспитывать и преклонение перед чужим ни к чему. Но подумал, не сделать ли собственный фирменный знак для моих изделий?

Зоя ЗОЛотова,  
фото Анатолия БОЧИННИНА





ВО ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ ЖИВЕТ В ГОРОДАХ.  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
ПЕРЕД ВОЙНОЙ ГОРОЖАНЕ СОСТАВЛЯЛИ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ,  
ТЕПЕРЬ УЖЕ ДВЕ ТРЕТИ,  
И ДОЛЯ ИХ ПРОДОЛЖАЕТ БЫСТРО РАСТИ.  
К НАЧАЛУ 1987 ГОДА В НАШИХ ГОРОДАХ  
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА ПРОЖИВАЛО 186 МИЛЛИОНОВ  
ЧЕЛОВЕК — ВТРОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 1940 ГОДУ.

**О**собенность нашей страны, выделяющая ее в мире, — существенное и всевозрастающее преобладание больших городов, которыми традиционно считаются поселения с числом жителей свыше

100 тысяч человек. Таких городов у нас сейчас более трехсот, в том числе 55 городов перешагнули за полмиллиона жителей, а 23 стали миллионерами. Прослеживается тенденция: население все более стягивается в большие города, которые растут несравненно быстрее средних и малых. Так, например, за девять лет между последними Всесоюзными переписями населения (1970 и 1979 годов) число горожан в стране возросло на 20 процентов. Причем жителей городских поселков и городов с числом жителей до 100 тысяч — всего на 9 процентов, с числом жителей от 100 до 500 тысяч — на 23 процента, более полумиллиона — на 35. К тому же абсолютный прирост населения больших городов был больше, чем всего населения страны, иными словами, число жителей всех других населенных пунктов (сельских и городских), вместе взятых, стало уменьшаться. Это новая, невиданная у нас ранее ситуация.

Официальное отношение к якобы чрезмерному росту больших городов у нас резко отрицательное. Многократно принимались жесткие постановления, призванные сдерживать этот рост и одновременно стимулировать развитие малых и средних городов. «Разбухание» мегаполисов до сих пор пытаются остановить административными мерами, но городская концентрация тем не менее усиливается. Почему?

#### МАГНИТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Многие годы я собирал объявления о междугородных обменах жилья. Закономерность: желающих обменяться на более крупный город много больше, чем тех, кто хотел бы переселиться в города меньшие. Четко прослеживается и довольно различная «ценность» городов. Сплошь и рядом трехкомнатную квартиру в рядовом областном центре предлагают за двухкомнатную в более крупном и видном (Горьком, Харькове, Свердловске, Новосибирске...) и даже за однокомнатную в еще более «престижном» городе (Киев, Ленинград), а уж москвичи могут получить очень просторную и благоустроенную квартиру за свою комнату в коммуналке. Это по объявлениям.

Еще сильнее подобная неравноценность городов проявляется в реальном обмене. Правда, такие сделки обычно держатся в секрете, ибо они не обходятся без крупных правонарушений (доплаты и так далее). Процветают подпольные маклеры. Человек, проводивший специальное исследование, утверждает: «За хороший обмен на Москву маклеры берут (с провинциалов.— В. П.) до пятидесяти — двадцати тысяч...» Можно представить, каковы доплаты самим владельцам московских квартир!

Часто приходится слышать: «Открой большие города — вся страна в них хлынет!» В этой фразе «открыть» означает облегчить прописку. Так ли это? Как человек, многие годы изучающий миграцию населения, уве-

# БОЛЬШИЕ ГОРОДА



рен, что это мнение глубоко ошибочно. Чтобы жить в любом месте, надо прежде всего иметь на что жить, то есть получать зарплату, пенсию или стипендию. Рост населения больших городов теснейшим образом связан с увеличением числа рабочих мест в них. Показательно: ежедневно на работу в любой большой город приезжает из пригородов во много раз больше людей, чем жителей этого города отправляется работать в пригороды.

Чтобы понять причины преимущественного роста больших городов, нужно в первую очередь разобраться, что влечет сюда предприятия и учреждения. Ответ на этот вопрос давно известен: экономические преимущества большого города. Здесь выше, чем в меньших поселениях, производительность труда, выше фондоотдача, ниже издержки производства, ниже себестоимость продукции. Это многократно проверялось специалистами, поскольку есть люди, которые это настойчиво (правда, голословно) отрицают. Чтобы быть доказательным, сошлюсь на данные из специального исследования «Пути развития малых и средних городов». В городах-миллионерах валовая продукция промышленности в расчете на одного занятого составила 138 процентов по отношению к производительности работника среднего города, а фондоотдача соответственно 211 процентов. Чем больше город, тем лучше (при прочих равных условиях) экономические показатели его промышленности. И именно поэтому при всех стеснениях и даже запретах перерабатывающая промышленность, меньше привязанная к естественным ресурсам, развивалась преимущественно в больших городах.

«Основным фактором, определяющим рост городов, — цитирую тот же источник, — является новое промышленное строительство». Иначе и быть не может. Промышленные инвестиции всегда ограничены, и общество неизбежно должно стремиться использовать их с наибольшей отдачей. Так что дело тут не только в ведомственных интересах, как полагают многие, и даже не столько в них. Есть немало примеров стремительного роста города в результате размещения в нем одного большого или группы взаимосвязанных предприятий. Так, скажем, в Тольятти в 1986 году насчитывалось 610 тысяч жителей, а в 1959-м в его предшественнике Ставрополе на Волге было всего 72 тысячи. В Брежневке (бывшие Набережные Челны) в 1970 году было 38 тысяч жителей, а в 1986-м — 459 тысяч. А ведь в последнем случае рост города практически определил лишь расположенный здесь КамАЗ. Эти примеры убедительно показывают, как малый город стремительно перерастает в сверхбольшой.

Несмотря на очевидные преимущества больших городов, государственные нормативные документы всегда были проникнуты стремлением ограничить их рост. «Правила и нормы застройки городов», изданные в 1959 году, рекомендуют: «Расчетная численность населения городов, как правило, не должна выходить за пределы 200—250 тысяч человек».

На чем такие требования основывались? Один из специалистов писал в те времена: «Анализ требований экономики городского хозяйства, гигиены и удобства жизни населения показыва-



ет, что желательное развитие городов различных величин, изменяющихся от 50 до 200 тысяч жителей, и можно считать допустимым в широких пределах — от 10 до 400 тысяч жителей. Сказано не очень складно, но для анализа достаточно.

О гигиене и удобствах мы еще поговорим особо. Но что означают «требования экономии городского хозяйства»? Оказывается, на одного жителя в городе с числом жителей в 800 тысяч коммунальные расходы на девять процентов выше, чем в городе с числом жителей в 50 тысяч человек. Абсолютная разница за 10 лет составляет 233 рубля, то есть около двух рублей в месяц. Также, конечно, деньги. И экономисты должны экономить. Но город не только потребляет, а еще и производит, причем много больше, чем потребляет. Поэтому с экономической точки зрения выгоден, конечно, не дешевый в коммунальном смысле город, а такой, в котором наибольшее превышение производства над потреблением. Дополнительный чистый доход на жителя в городах-миллионерах на целый порядок выше расходов, так что дополнительные затраты на коммунальное хозяйство окупаются примерно за год.

Неудивительно, что объективные экономические преимущества больших городов всегда действовали сильнее субъективных мнений, даже если последние имели вид инструкций Госстроя.

С точки же зрения самого населения, в больших городах наиболее ценны их социальные преимущества. Последнее, кстати, не решаются отрицать даже самые замшелые «сторонники малого города».

Эти преимущества очевидны и понятны каждому: широкие возможности выбора профессии, мест учебы и работы, знакомых и друзей, мест и форм проведения досуга и даже любимых и супругов. Немалое значение имеет отсутствие в большом городе жесткого персонального социального контроля, столь характерного для села, рабочего поселка, малого города, где «все все обо всех знают».

Не секрет, что в больших городах — лучшие школы и больницы, библиотеки и театры, вузы и заводы... Здесь и жилья на человека приходится (вопреки распространенным предрассудкам!) больше, и качество его выше, и магазины полнее, и доля дорогих рыночных и кооперативных продуктов в питании меньше.

Все это не может не привлекать людей именно в крупнейшие города, ибо один из главных законов миграции: люди стремятся туда, где лучше. Что, понятно, еще не означает, будто жить в них может любое число людей. Демографическая емкость каждого города жестко ограничена. Она определяется главным образом числом рабочих мест.

### ЧЕМ И ПОЧЕМУ НЕУДОБЕН БОЛЬШОЙ ГОРОД?

Главное и практически всеобщее неудобство — транспорт. Огромные расстояния мегаполисов требуют больших затрат времени на поездки на работу, а также с бытовыми и культурными целями. Часто — в недостаточном комфортных, а то и просто в дискомфортных условиях. Обычно терпящий неудобства горожанин склонен винить за них именно размеры города. Однако это напоминает известный анекдот: проще искать под фонарем.

Позволю себе говорить о Москве, которую знаю лучше любого другого города. Ее масштабов не может достичь никакой другой город страны, но если даже в столице далеко не все, как увидим, зависит от размеров действительно гигантского города, то уж в других случаях и подавно.

В последние годы москвичи все более страдают от перегрузки метро, особенно некоторых линий, по которым в часы пик нормально проехать невозможно. Что делается утром и вечером на пересадках, и передать трудно.

Почему так получилось?

С самого своего рождения и в течение последующих нескольких десятилетий метро строилось в расчете на пять миллионов «плановых» жите-

лей. Такая предельная численность населения столицы на далекую перспективу была установлена еще в 1931 году. Однако Москва достигла ее к концу 50-х годов. В 1961 году границы столицы были законодательным порядком раздвинуты. В нее были включены пять городов, ряд поселков городского типа, множество сел, что привело к росту числа москвичей примерно на миллион. В этих новых границах население Москвы к началу 1959 года составило около шести миллионов человек. А затем, невзирая на все сдерживающие усилия, Москва ежегодно росла примерно на сто тысяч человек, и к началу 1987 года в ней оказалось уже 8,6 миллиона жителей, причем подавляющую часть прироста дала миграция. Одновременно с этим резко увеличилось население ближнего Подмосковья, значительная часть которого ежедневно отправляется в Москву работать и учиться. Сильно возрос приезд гостей издалека: в командировки, отпуска, турпоездки, за покупками... Так что дневное население Москвы теперь составляет около десяти миллионов человек, то есть вдвое больше, чем когда-то предполагалось.

Естественно, допущенные некогда просчеты можно было бы исправлять по ходу дела, когда стала очевидной ошибочность прежних прогнозов. Однако старые ошибки не признавали и делали новые. В Генеральном плане развития Москвы до 1990 года, который был утвержден в 1971 году, на конец 1990 года в столице предполагалось иметь 7,9 миллиона жителей — примерно на миллион меньше, чем будет на самом деле. Численность перспективного населения Москвы, как и многих других крупных городов, постоянно в приказном порядке занижал Госплан СССР.

Понятно, что планы строительства метро, опиравшиеся на резко заниженные данные, оказались несостоятельными. Вот и приходится теперь администрации метро на некоторых станциях в наиболее напряженные часы закрывать вход или выход, что, однако, не спасает пассажиров от удручающей толчеи у эскалаторов и на переходах, от давки в переполненных поездах, от бессмысленной траты времени и нервов.

Нынешнее население Москвы испытывает трудности и с наземным транспортом, что, в частности, объясняется недостатком шоферов автобусов. Шоферов же, в частности, не хватает из-за невозможности прописаться в Москве, о чем мы будем говорить позднее. А пока остановимся на еще одной из причин перегрузки пассажирского транспорта столицы — несовершенной конфигурации транспортной сети.

У Москвы исторически сложившаяся радиально-кольцевая планировочная структура. В последние десятилетия развиваются преимущественно радиальные транспортные магистрали, круговые же и хордовые строятся совершенно недостаточно. Поэтому проехать из одного окраинного района в другой, соседний, часто бывает быстрее и удобнее по двум длинным радиусам через центр, чем напрямую. Так езджу я из своего Чертанова на Ленинский проспект, так ездят сотни тысяч других московских пассажиров, создавая тем самым громадные дополнительные нагрузки на транспорт. Бывают и совсем уж анекдотичные случаи. От моего дома до соседнего Царицына (Ленино-Дачное) километра два. Но лучший и быстрее путь таков: сначала автобусом до метро, потом уже по трем подземным линиям с двумя пересадками.

О транспортной перегрузке центра Москвы даже говорить не хочется. Надо же было додуматься создать московский «бермудский треугольник»: поставить рядом три крупней-

ших в стране универмага — ГУМ, ЦУМ и «Детский мир», через которые за день проходят сотни тысяч покупателей!

Таким образом, транспортные неудобства Москвы объясняются не столько ее размерами, сколько несоответствием конфигурации транспортной сети и ее перевозочных «мощностей» реальным потребностям города.

Кстати, было бы неправильно полагать, что в небольших городах положение с транспортом много лучше, чем в столице. Если в Москве можно тратить полчаса-час на езду, но не ждать транспорт на остановке или ожидать его всего несколько минут, то в городах с малым пассажиропотоком меньше времени тратится как раз на саму поездку и много больше — на подход к остановке и ожидание автобуса.

Тем не менее все перечисленные, свойственные нынешним крупнейшим городам неудобства (добавим сюда еще экологические трудности) отнюдь не перевешивают во мнении горожан их преимуществ. Это подтверждает статистика. Если по городам страны в целом на каждую сотню прибывающих в них мигрантов приходится около пятидесяти выбывающих из них, то в крупнейших городах поток выбывающих совсем мал и состоит в значительной мере из тех, кто окончил учение и распределен на работу в другие места. На что только не идут ради сохранения московской прописки: работа не по специальности, взятки, фиктивные браки...

### ПАРАДОКСЫ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА

Когда в крупнейших городах вводили ограничения в прописке, то полагали, что это может сдержать их рост. Ожидания эти не оправдались да и не могли оправдаться. Более того. Принятые меры, как ни странно, дали массу негативных последствий, не принеся никакой существенной пользы ни обществу в целом, ни большинству отдельных лиц.

Вот незначительное меньшинство свою пользу все-таки извлекло и, думаю, немалую. Если нельзя или трудно попасть в город «законным» путем, то неизбежно искиваются пути «незаконные». Эти слова я ставлю в кавычки потому, что законов-то тут нет, а есть ведомственные инструкции, так называемые «подзаконные акты», которые иной раз представляются откровенно беззаконными. Ну, кто и как «узаконил» порядок, по которому так называемый «лимитчик» должен пять (а то и больше) лет проработать на предприятии, прежде чем ему дадут постоянную прописку? Говорят: «так сложилось» на практике.

Запреты прописки на самом деле стали труднопреодолимым препятствием к выписке. Если до этих запретов многие пожилые люди охотно покидали большие города — жить тут пожилым нелегко, — то с введением таких запретов их выезд почти прекратился, ибо, выписываясь из города, человек стал терять право (и фактическую возможность) возвратиться в свой город, если в этом вдруг появилась необходимость. Запреты на прописку стали одним из главных факторов разбухания больших городов за счет пенсионеров.

Дальше — больше. Стеснения с пропиской стали приводить к недостатку рабочей силы на городских промышленных предприятиях, стройках, в учреждениях и, естественно, прежде всего там, где хуже условия труда и быта. Рабочих и служащих стали организованно приглашать и «завозить» в крупнейшие города на условиях оргнабора, «лимита» и даже общественных призывов. Искусственно создав себе трудности, их стали героически преодолевать, для чего,

кстати, организовали немало новых (по существу, паразитических) рабочих мест для служащих, занятых информацией, рекламой, приглашением, сопровождением, оформлением привлекаемой со стороны рабочей силы. В крупнейших городах страны появилось громадное число «лимитчиков». В Москве долгие годы именно ими в значительной мере комплектовались рабочие коллективы в текстильной промышленности, промышленности строительных материалов, строительстве, на городском транспорте, в милиции, на конвейерах машиностроительных заводов.

Если разобраться, «лимитчик» лишен некоторых обычных для советского гражданина прав. Он не может покинуть «свое» предприятие, найти себе более подходящее место работы, встать на очередь на жилье и так далее. Реальные условия жизни «лимитчиков» сравнительно с полноправными горожанами обычно достаточно плохи, так что многие из них не выдерживают и покидают временно приобретенные их города. Другие стараются найти пути избавления от такого неравенства. Один из путей — вступление в брак с полноправным горожанином и прописка на его жилплощади. Правда, тут есть немало препятствий. Во-первых, «лимитчики» обычно мало интересуют коренных горожан как возможные брачные партнеры, поскольку давние и новые горожане — обычно люди разных культур, различных ценностных ориентаций, разных представлений о жизни, различных интересах. Во-вторых, горожане часто думают (имея на это основания), что «лимитчику» нужны не они сами, а их прописка и жилплощадь. Так что большая часть «лимитчиков» собственной семьи не создает или создает очень поздно. Это, кстати, сильно сказывается на демографической ситуации. В крупнейших городах население воспроизводится значительно хуже, чем в любых других населенных местах: нередко на смену тысяче человек родительского поколения приходится всего 600—700 детей. Молодые семьи именно в этих городах особенно непрочны. Во многих из них на каждую тысячу браков приходится свыше 500 разводов. Трудно точно сказать, какой «вклад» в это дают фиктивные «браки», связанные с желанием «зацепиться» за большой город, однако несомненно, что этот вклад значителен.

С некоторых пор вузы наших крупнейших городов стали ограничивать число иногородних студентов числом мест в общежитиях. Теперь нельзя, как раньше, поступив учиться, жить на квартире. Мест же в общежитиях крайне недостаточно, так что вероятность стать студентом у местных горожан во много раз выше, чем у приезжих абитуриентов. Даже условия конкурсов стали неравными: провинциал, чтобы стать студентом, должен набрать больше баллов. Полагаю, такой порядок вреден во многих отношениях. Могут остаться «за бортом» талантливые люди, студенческие же места займут местные «троечники», из которых мудро подготовит знания и умелых инженеров, врачей, учителей. Это не лучшим образом сказывается и на профессиональном, и на общекультурном уровне нашей молодой интеллигенции, а в конечном счете — на темпах экономического и социального развития страны.

Издавна повелось, что крупнейшие города, особенно столицы, собирали в свои учебные заведения талантливую провинциальную молодежь, которая потом, впитав науки, столичную культуру, искусство, развезлась по стране, неся в провинцию столичный «свет», поднимая культуру окраин. Это нормальный и крайне важный для страны «кровооборот» общественного организма. Теперь такое «кровообращение» сильно затруднено, что сказывается на обществе так же, как пережим крупных кровеносных артерий сказывается на здоровье человека. Все знакомые с процессом распределения молодых специалистов знают, что послать выпускника вуза в Норильск, на БАМ или Колыму несравненно легче, чем в Калугу или Рязанскую область. Почему? Да потому, что северянам бронируют прописку и жилплощадь, то есть оставляют путь к возвращению.

А что происходит в вузах, НИИ, конструкторских бюро, везде, где происходит замещение должностей по конкурсу? В московских газетах часто читаешь: «В конкурсе могут принять участие москвичи и жители ближнего Подмосковья». Ну а как быть, если лучшие специалисты по каким-то специальностям живут в других местах? Оказывается, важны не таланты, знания, труды — прописка!

Думаю, что все это очень далеко от социальной справедливости. Право учиться в Московском государственном университете у выпускника чукотской школы такое же, как



и у его сверстника, который видит этот университет из окна своей квартиры. Однако реальные возможности зачастую оказываются чрезвычайно различны. Это затрагивает интересы не только отдельных людей, но и общества в целом.

Давно я хочу услышать какое-либо вразумительное объяснение в пользу запретов на прописку в крупнейших городах. Однако проходят десятилетия, а мне его так и не удалось получить. Нельзя же считать таковым позицию ответственных работников Госплана СССР (правда, по старости там уже не работающих): «Хорошо вам, научным работникам, предлагать, вы люди безответственные. А что будет, если мы откроем Москву и в нее хлынет вся страна? С кого в первую очередь голову снимут?»

Готов, отвечаю, чем угодно поручиться, что не хлынет. К тому же не обязательно сразу начинать с Москвы. Давайте возьмем один из рядовых городов-миллионеров, наиболее типичный, откроем и поглядим, что из этого выйдет, а уж потом по результатам будем решать об остальных. Эксперимент — самое убедительное решение вопроса. Причем заранее можно предсказать: если в городе есть свободные рабочие места, они быстро будут заняты, конечно, с работниками вселится в город и некоторое количество иждивенцев. Дальше же все пойдет так, как шло и до сих пор: население города будет расти в меру роста числа рабочих мест в нем.

Предложения открыть большие города я делал и двадцать лет назад, и позже. Увы, безрезультатно. Глубоко убежден, что административное регулирование миграции населения наносит стране громадный и многосторонний вред.

Могут ли жить эти города без притока населения извне? Нет, не могут. Если сюда прекратится постоянный и большой приток молодежи, то они скоро станут городами пенсионеров, ибо доля последних во всем населении оказалась бы несуразно большой. Более того, численность их населения скоро стала бы быстро уменьшаться: не стало бы естественного прироста. А это недопустимо, так как именно эти города — главные экономические, научные, культурные и политические центры страны.

#### ПРЕДВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ

В последние десятилетия концентрация населения в больших городах постоянно повышалась. Что произойдет в будущем, что можно ожидать, скажем, к концу столетия?

С одной стороны, будут быстро падать темпы роста городского населения страны, с другой — еще больше усилятся процессы его концентрации.

Города росли и до сих пор еще растут преимущественно за счет села. Дело не только в том, что сюда переселяются год за годом миллионы сельских жителей, но еще и в том, что именно переселенцы дают естественный прирост горожан. Ведь в города едут преимущественно одинокие молодые люди, которые вскоре после прибытия на новое место вступают в брак и рожают детей. Демографические установки у селян существенно иные, чем у жителей больших городов. В частности, они хотят иметь много больше детей, чем коренные горожане. Переселяясь в такие города, они приносят в них и эти свои установки. При всех объективных трудностях новоселов детей у них все же много больше, чем у коренных жителей.

Перед войной переход одного процента сельских жителей в города вызывал рост числа горожан на два процента, теперь же — всего на полпроцента. Во многих районах страны деревня демографически настолько

истощена, что уже не может отдать городам много своих жителей. Кроме того, резко упал прирост населения страны в целом — с 1,8 процента в 1960 году до 0,9 процента в последние годы. В ближайший период ожидается его дальнейший спад. Так что время бурного роста городов позади.

Нынешние революционные перемены в жизни страны, скорее всего, будут сильно стимулировать дальнейшую концентрацию горожан. Новый экономический механизм с полным хозрасчетом, самоокупаемостью и самофинансированием промышленных и других предприятий усилит значение территориальных различий. Дополнительные преимущества получают города с хорошим экономико-географическим положением, обладающие лучшими природными условиями, располагающие лучшей инфраструктурой, то есть, как правило, те самые города, которые и сейчас выделяются своими размерами и темпами роста. С этой точки зрения обратим внимание на цепочку крупнейших городов, расположенных на Волге. В областях и автономных республиках, через которые протекает великая река, почти все большие города стоят непосредственно на ее берегах.

Именно в больших и особенно крупнейших городах находятся основные производственные фонды нашей страны, именно здесь намечают основные вложения в реконструкцию предприятий, именно тут можно получить наивысшую отдачу от капитальных вложений, что заставит вести в больших городах и новое строительство.

Наконец, ожидается резко преимущественное развитие непроизводственной сферы, которая у нас сильно отстала от требований дня. Эта сфера всегда была привязана к большим городам, к скоплениям населения, которое она обслуживает. Так что ее возвышение пойдет на пользу в первую очередь именно крупнейшим городам и вызовет их дополнительный рост.

Говоря более точно, преимущественными темпами будут расти городские агломерации, то есть скопления населенных мест, тесно связанных между собой многообразными связями и имеющих единый трудовой баланс. Крупнейшая такая агломерация — Московская, в которой теперь проживает не менее пятнадцати миллионов человек, больше половины всего населения Центрального экономического района, в который входят 12 соседних с Москвой областей. Вспомним, что, по переписи 1926 года, в Москве и Московской области (в ее нынешних границах) проживало всего 20 процентов населения Центрального экономического района.

Особенно быстро растут города Ближнего Подмосковья — в радиусе примерно пятидесяти километров от московских железнодорожных вокзалов.

Те же процессы концентрации жителей в немногих местах, на очень ограниченных территориях происходят в стране повсеместно, хотя и не в столь больших абсолютных размерах, как в столице. Идет поляризация: образуются многомиллионные густки населения, перемежающиеся малозаселенными, полупустынными пространствами. Повсеместность этого процесса в стране и мире — лучшее свидетельство того, что в основе его лежат могучие объективные факторы, действие которых невозможно преодолеть никакими искусственными мерами. Административное регулирование миграции, приносящее много вреда не только отдельным людям, но и обществу в целом, должно быть отменено. Это был бы очень логичный шаг в том процессе демократизации общественной жизни, который идет в стране.

СЕГОДНЯ,  
В ДНИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ  
ПЕРЕСТРОЙКИ ВСЕГО И ВСЕХ,  
НЕ СМОЛКАЮТ,  
ВСЕ ЖАРЧЕ РАЗГОРАЮТСЯ СПОРЫ,  
ДИСКУССИИ, ГЛАВНЫМ ИХ СМЫСЛ —  
КАК НАМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.  
КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ —  
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ,  
А И ДЛЯ ОБЩЕСТВА, СТРАНЫ.  
И О ЧЕМ БЫ НИ ГОВОРИЛИ,  
НИ СПОРИЛИ, НЕПРЕМЕННО  
ВЗЫВАЕМ К НАШЕМУ ПРОШЛОМУ,  
ИЩА И В НЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
СВОЕЙ ПРАВОТЫ,  
НЕОПОВЕРЖИМЫЕ АРГУМЕНТЫ.  
ТАК ВО ВСЕМ, ЧЕГО БЫ МЫ  
НИ КАСАЛИСЬ СЕГОДНЯ,  
ПРОБЛЕМ ЛИБО ЭКОНОМИКИ,  
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ,  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИБО  
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ... ВО ВСЕМ,  
КРОМЕ ОДНОГО, ЧТО СТОЛЬ ЖЕ  
ЗАНИМАЕТ НАШИ УМЫ, — СУДЕБ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
НАСЛЕДИЯ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ  
ПОЧЕМУ-ТО ИЗБЕГАЕМ

КАСАТЬСЯ ПРОШЛОГО.  
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ  
ВСПОМИНАЕМ О ТРАГИЧЕСКИХ ДНЯХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
ЛИБО О НЕОПРАВДАНЫХ УТРАТАХ  
КОНЦА 20-х — НАЧАЛА 30-х ГОДОВ.  
И ПОТОМУ НЕВОЛЬНО СОЗДАЕТСЯ  
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НАЧАЛИ МЫ  
БЕРЕЧЬ ПАМЯТНИКИ, ЗАБОТИТЬСЯ  
О НИХ СОВСЕМ НЕДАВНО.  
ВОЗЬМИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОСЛЕДНИХ  
МЕСЯЦЕВ. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РЕЗКО  
ОСУЖДАЕТ ПОЗИЦИЮ  
МИНИСТЕРСТВ КУЛЬТУРЫ,  
НЕРАДИВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ,  
РАБОТНИКОВ ИСПОЛКОМОВ.  
ВЗЫВАЕТ К СПРАВЕДЛИВОСТИ.  
НО ЧАЩЕ ВСЕГО — ПО ОТДЕЛЬНЫМ,  
КОНКРЕТНЫМ СЛУЧАЯМ,  
НЕ ПРЕДЛАГАЯ АНАЛИЗА ПРИЧИН  
СЛОЖИВШЕГОСЯ ПОЛОЖЕНИЯ.  
НЕ ИЗЛАГАЯ ВАРИАНТА  
ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ В ЦЕЛОМ.  
НЕУЖЕЛИ ЖЕ СТОЛЬ БЕЗРАДОСТНА  
ВСЯ НАША ПРАКТИКА В МИНУВШЕМ,  
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ДАТЬ

#### НАСЛЕДИЕ

# ПРОШЛОЕ — НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ

Юрий ЖУКОВ

#### НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Их было 54, собравшихся у Максима Горького в его петроградской квартире на Кронверкском вечером 4 марта 1917 года. Художники Бенуа и Петров-Водкин, Лансере и Нарбут, архитекторы Фомин и Щуко, певцы Ершов и Шаляпин, редактор журнала «Аполлон» Маковский и музыкальный критик Каратыгин...

Свели их революционные события и серьезнейшие опасения за судьбы культурно-исторического наследия. Вспомнит ли о нем только что созданное Временное правительство? Возьмет ли на себя ответственность за сохранность, особенно в эти бурные дни, бесценных произведений искусства, реликвий старины, картинных галерей, музеев, дворцов, усадеб, церквей, монастырей?

Поначалу решили было образовать особое министерство, но тут же и отвергли это предложение. «Революция», — возражал Маковский, — не дает нравственного права случайному собранию распоряжаться судьбами искусства». Сошлись на самом простом: предложить Временному правительству и Петросовету свою помощь по охране памятников.

Через день несколько участников совещания — Горький, Бенуа, Добужинский, Петров-Водкин, Рерих, Ша-

ляпин и привлеченный для большей солидности депутат Четвертой думы Неклюдов — посетили комиссара над бывшим министром двора Н. Н. Львовым. Того чиновника, которому и оказались вверены судьбы Эрмитажа, Русского музея, Оружейной палаты, территорий археологических раскопок в Керчи и Херсонесе, императорских и великокняжеских дворцов в Петрограде, его окрестностях и иных местах.

Львов не скупился на комплименты, но обещать что-либо конкретное — нет, он не уполномочен.

Иным оказался разговор в Петросовете. Группу не просто поддержали. Ей разрешили именоваться Комиссией по делам искусств Исполкома. Мало того, отдал распоряжение разослать в редакции газет и журналов подготовленное Горьким воззвание с просьбой опубликовать от имени Совета рабочих и солдатских депутатов.

Уже 8 марта ныне хорошо знакомые многим строки появились на страницах «Известий», «Нивы», других изданий:

«Граждане! Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит народу. Граждане, берегите это наследство, берегите дворцы, они станут дворцами вашего всенародного ис-



ДОСТОЙНОГО ПОДРАЖАНИЯ?  
НЕУЖЕЛИ ЗА СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ТАК И  
НЕ СДЕЛАЛИ МЫ НИЧЕГО СТОЛЬ  
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО, ЧТО СТАЛО БЫ  
ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ, МОГЛО БЫ  
ИСПОЛЗОВАТЬСЯ И НЫНЕ?  
НЕТ, НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ,  
ИБО СПОРЫ О ТОМ, ЧТО И КАК НАМ  
СОХРАНЯТЬ, УХОДЯТ  
В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ.  
НЕТ, ИБО НАМИ СВЕРШЕНО  
ТАК МНОГО, ЧТО ПЕРЕЧЕНЬ  
СПАСЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ИСКУССТВА, РЕЛИКВИИ СТАРИНЫ  
ТОЛЬКО ЗА ТРИ ГОДА РЕВОЛЮЦИИ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
ПРЕВЫСИТ ВСЕ ВЗЯТОЕ  
ПОД ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.  
ЕСЛИ МЫ ОБРАТИМСЯ К ПРОШЛОМУ,  
ТО ПОЙМЕМ: МНОГИЕ НАШИ  
СЕГОДНЯШНИЕ ОШИБКИ, ПРОСЧЕТЫ,  
УПУЩЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ  
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ИСТОРИЕЙ,  
НАКОПЛЕННЫМ,  
НО ОСТАВШИМСЯ ВТУНЕ ОПЫТОМ.

куства, берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей и предков ваших».

Ободренная поддержкой, Горьковская комиссия сразу же начала действовать. На заседании Петросовета добилась переноса места похорон жертв революции с Дворцовой площади на Марсово поле. Спасла от сноса памятники у Исаакиевского собора и Московского вокзала. Для того же направила искусствоведа Г. К. Лукомского в Тверь и художника Г. И. Нарбута в Киев. Организовала описание художественных ценностей Елагинского дворца. Настояла на выводе роты самокатчиков из Петергофского дворца. Поставила перед Временным правительством вопрос о превращении Зимнего дворца в исторический музей.

Успехи Комиссии, ее общественная значимость были столь заметными, что, наконец, ее решил признать и комиссар над бывшим министерством двора, предложив отныне именовать Особым совещанием. Однако начавшиеся было налаживаться дела неожиданно натолкнулись на противодействие... художественной интеллигенции столицы.

Опьяненная свободой, она решила, что их коллеги стремятся «узурпировать» власть. И чтобы предотвратить подобное «насилие» над демократией, объявила о создании Союза деятелей искусства. Он-то, как предполагалось, и должен был стать единственным, высшим органом власти в области литературы и искусства. Ну, а кроме того — и по охране памятников. Правда, Союз должен был оставаться в то же время совершенно независимым от правительства.

12 марта на митинг в Михайловский театр собралось почти полторы тысячи человек — чуть ли не все петроградские писатели, поэты, журналисты, критики, художники, актеры, режиссеры, певцы, архитекторы. Но говорили они не столько о своем Союзе, сколько о Горьком, возглавляемой им Комиссии.

Почти все ораторы не стеснялись резкого тона, личных выпадов. Но особенно непримиримую позицию заняли писатели Федор Сологуб и Леонид Андреев, поэт Владимир Маяковский, художник Илья Зданевич, режиссер Всеволод Мейерхольд.

«Как это ни невероятно, — сообщал газетный отчет о митинге, — на Горького и группировавшихся вокруг него русских художников посыпались обвинения: как смели они собраться, как смели предпринимать шаги для охраны памятников искусства...»

Все же собрание выразило Горьковской комиссии «благодарность за меры и деятельность по охране памятников в первые дни революции». Но уже сама формулировка подчеркивала сугубо временный характер Комиссии, убежденность, что она — в прошлом.

Между тем Комиссия, или Особое совещание, как теперь все чаще ее называли, не сдавалась. Она росла, собрав 80 человек. Среди новых членов были композиторы Рахманинов и Глазунов, художники Билибин и Репин, Коровин и Сомов, режиссеры Станиславский и Немирович-Данчен-

ко, почти все искусствоведа Петрограда. Убежденные в своей правоте, своей необходимости, они продолжали работу. Не обращали внимания на обструкцию, но все чаще сталкивались с новой трудностью — невозможностью претворять в жизнь собственные решения.

«Будучи исключительно органом совещательным, — отмечал Александр Николаевич Бенуа, — постановления которого не обязательны и не имеют юридической силы, она неизбежно обречена на бесплодие... Таким образом, возникает вопрос об усилении дееспособности Особого совещания и в связи с этим реорганизации самого комиссариата...»

Да, действовать было необходимо. Действовать официально, быстро, решительно и смело. Но именно в этом горьковской группе хотели помешать и комиссар, и Союз деятелей искусства. Федор Сологуб, заявлявший во всеуслышание: «Я не представляю вообще, что нужно охранять музейные предметы. Я думаю, что их не надо охранять», — возглавил делегацию Союза, посетившую комиссара над бывшим министерством двора. Ей легко удалось добиться официального заявления о том, что Особое совещание не является правительственным учреждением.

Терпение Горького иссякло, и 20 апреля он известил комиссара, что его группа считает «сегодняшнее заседание последним». Отныне Союз должен был доказать, что он способен на большее.

Поначалу казалось, что так и будет. Уже 23 апреля Союз образовал собственную Комиссию по охране памятников искусства и старины. Но, наученные двухмесячным опытом, они сформулировали принципиально новую программу.

Прежде всего члены Комиссии сочли необходимым отказаться от опоры, ориентации лишь на общественность и создать «Центральный комитет по регистрации, возобновлению, поддержанию и охране памятников, предметов искусства, музеев и раскопок», действующий «по полномочию Временного правительства и по соглашению с Советом рабочих и солдатских депутатов». Работу же Комитета следовало немедленно распространить на всю страну, учредив для того особые органы на местах.

Затем обратились к председателю Временного правительства князю Г. Е. Львову с двумя рекомендациями. Во-первых, отмечали члены Комиссии, следует незамедлительно принять закон, воспрещающий «вывоз из пределов России произведений искусства и памятников древностей и старины». Во-вторых, в связи с подготовкой закона об отделении церкви от государства настаивали: «Запретить отчуждение памятников искусства и старины, принадлежащих государству, церквям, монастырям, епархиям, а также их ризницам и хранилищам».

Последнее предложение обстоятельно мотивировал известнейший специалист по древнерусской архитектуре К. К. Романов в письме на имя министра вероисповеданий князя Е. Н. Трубецкого. «До сего времени, — писал К. К. Романов, — главные усилия при охране церковных памятников были, по необходимости, направлены против покушений на них со стороны приходов, причтов, монастырей и епархиальных властей». И потому Романов считал наилучшим решением признание всех сооружений и движимых имуществ, принадлежащих церквям, монастырям, часовням, епархиям, ризницам и хранилищам при них, — общегосударственной собственностью.

Но столь продуманная программа осталась гласом вопиющего в пустыне. Ее даже не обсуждали. Просто архитектор А. И. Таманов (Таманян) как председатель Союза деятелей искусств подтверждал своей подписью «исходные» и направлял по адресу. А членам Комиссии оставалось только ждать. Ждать и скрепя сердце констатировать: «Установленные печатью, учреждениями и отдельными лицами разрушения, порчи и расхищения памятников и предметов искусства, к сожалению, продолжают не только на окраинах, но и в центрах России».

Газеты тех дней скупно отмечали: в Петрограде разграбили дворец герцога Лейхтенбергского, один из залов

Сената; в Царском Селе — Мавританские бани; в Петергофе — Монплезир, Большой дворец, ферму в Александрии; Ораниенбаумский дворец отдан под лазарет, и редчайшие коллекции, интерьеры находятся под угрозой.

Вынужденная реагировать на все эти сообщения, Комиссия обратилась к Керенскому с просьбой срочно принять необходимые для защиты художественных и исторических сокровищ России меры. «Но, — заявил заместитель председателя Комиссии В. М. Лопатин, — я не думаю, чтобы мы достигли что-нибудь этим путем». Он отказался прав. Комиссии не удалось даже ответить.

Наступил октябрь, восьмой месяц революции. В среде музейных работников, искусствоведов воцарился пессимизм. Им казалось, что помощи ждать больше неоткуда. Что произведения искусства, реликвии старины обречены на неминуемую гибель.

## СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА РЕВОЛЮЦИИ

24 октября (6 ноября) 1917 года в Петрограде началось вооруженное восстание. К утру следующего дня красногвардейцы, революционно настроенные матросы и солдаты овладели всеми стратегическими пунктами города. Но никто не мог еще гарантировать, что бои, и прежде всего в районе Зимнего дворца, где пребывали члены низложенного Временного правительства, не разгорятся. Потому и принял Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК) важное, знаменательное решение. Безопасность государственных и частных собраний необходимо обеспечить любыми средствами. А для того назначить особых комиссаров — по охране музеев, дворцов и художественных коллекций. Ими стали 29-летний учитель из Лодзи Б. Д. Мандельбаум и 39-летний художник Г. С. Ятманов.

Выполняя свой долг, Мандельбаум и Ятманов прежде всего организовали охрану Эрмитажа, Русского музея, Аничкова дворца и Публичной библиотеки. Затем 28 октября (10 ноября) разослали в редакции газет «Обращение». В нем ценности искусства и старины бывшей резиденции российских императоров провозглашались неотъемлемой собственностью русского народа. Спустя два дня Анатолий Васильевич Луначарский, которого II Всероссийский съезд Советов назначил народным комиссаром просвещения, закрепил и конкретизировал решение комиссаров ПВРК. «Именем правительства Республики» он объявил Зимний дворец государственным музеем.

Однако и Мандельбаум, и Ятманов хорошо понимали — делают они лишь первые шаги на длительном и тернистом пути. Что вдвоем они, в общем, дилетанты, не справятся с ответственным поручением. И обратились за помощью, советом, поддержкой к В. А. Верещагину.

Еще недавно, до марта — гофмейстер двора, видный чиновник министерства юстиции, был известен он и как профессиональный историк искусства, один из создателей журнала «Старые годы». Но главное — с июля 1917 года возглавлял Художественно-историческую комиссию по приемке и охране имущества петроградских царских дворцов.

Верещагин объяснил: его комиссия не единственная. Такие же с лета 1917 года действовали и в остальных императорских резиденциях — Царском Селе, Петергофе, Гатчине. Вот они, да еще если вместе, и могли бы оказать реальную помощь. А В. Луначарский вновь поддержал инициативу. Уже 6(19) ноября приказом по вверенному ему ведомству он официально предложил всем четырем комиссиям продолжить свою работу и переутвердил в должностях — теперь уже наркомпросовских — их руководителей: В. А. Верещагина, Г. К. Лукомского, В. П. Зубова.

А полторы недели спустя, 17(30) ноября, сотрудники всех комиссий приняли предложение наркома расширить свои функции. Отныне им предстояло заниматься не столько изучением имущества бывшей царской фамилии, сколько непосредственной охраной художественных собраний. Вернее, тех, которые обладали научной ценностью и могли оказаться под угрозой расхищения или гибели.

Так возникла принципиально новая организация, именовавшаяся поначалу Соединенной комиссией, а с марта 1918 года — петроградской Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Первое в нашей стране государственное учреждение, главным и единственным назначением коего стало сохранение и демократизация культурно-исторического наследия. Правда, пока еще лишь в пределах Петрограда и его окрестностей.

В считанные дни Соединенная комиссия взяла под свою, а фактически — пролетарского государства, опеку богатейшие частные коллекции. Великих князей Николая Николаевича, Николая Михайловича, принца Ольденбургского, герцога Лейхтенбергского, бежавших на юг и брошенных в нашей стране на произвол судьбы. Графов Шереметевых, Строгановых, Бобринских, оставленные на попечение управляющих. А вскоре заинтересовалась судьбой и наиболее известных, исторических усадеб.

Политикой большевиков, Советской власти было и назначение комиссаров ПВРК по охране музеев, дворцов и художественных коллекций, и включение в структуру Наркомпроса сначала художественно-исторических комиссий, а затем Соединенной комиссии, и декреты, которые постепенно, но неуклонно начали возводить памятники в наивысший ранг — национального достоинства.

...В первый день социалистической эры II Всероссийский съезд Советов по докладу Владимира Ильича Ленина принял Декрет о земле. Решил главный, вековой и долгожданный для аграрной России вопрос. Все помещичьи, удельные (то есть принадлежавшие царской семье), монастырские и церковные земли со всем живым, мертвым инвентарем, усадебными постройками национализировались.

Но значение Декрета о земле не ограничилось его хорошо понятной нам ролью в коренном преобразовании экономических отношений. Явился он и первым социалистическим правовым актом, непосредственно связанным с судьбой культурно-исторического наследия. Ведь к категории усадебных построек, переходивших в распоряжение местных Советов, относились и сотни ценнейших произведений зодчества, десятки зданий, связанных с жизнью и творчеством выдающихся отечественных писателей, поэтов, художников, композиторов. Вместе с ними становились собственностью государства и хранившиеся там картины, библиотеки, архивы, произведения прикладного искусства.

А чтобы в том ни у кого не было ни малейшего сомнения, почта и телеграф вскоре разнесли по стране новые, столь же важные документы. Секретариат Председателя Совнаркома широко распространил копии телеграммы В. И. Ленина председателю Острожского Совета: «Сообщите точную опись ценностей, собраных в сохранном месте, вы отвечаете за сохранность. Имения — достояние народа. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте приговоры суда нам».

Того же — бережного отношения, передачи представителям местных органов просвещения сокровищ культуры и истории — настойчиво требовали и письмо Секретариата ЦК РСДРП(б) от 12 (25) декабря 1917 года, и инструкция Наркомзема от 13 (26) декабря.

Социалистическое правотворчество этим не ограничилось. Декрет «О свободе совести», принятый 20 января (2 февраля) 1918 года, установил: «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием». Тем самым перестали зависеть лишь от доброй воли верующих, священнослужителей художественно и исторически ценные старинные культовые



здания, иконы, произведения прикладного искусства. Они наконец обрели юридическое основание для перехода под полный контроль научных учреждений, для использования в интересах науки, просвещения.

Не меньшее значение имели и иные акты, также пока еще не говорившие о памятниках прямо. Так, декрет «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» позволял Наркомпросу в случае необходимости превращать в музеи дворцы, особняки. А декрет «О конфискации имущества низложенного российского императора» устанавливал возможность таких же преобразований дворцов Петрограда, Царского Села, Петергофа, Гатчины, Ораниенбаума, Москвы, Ялты.

Вот так, за несколько месяцев, и были заложены основы планомерной работы рабоче-крестьянского государства по охране культурно-исторического наследия, его демократизации. Дело оставалось за «малым» — созданием соответствующего республиканского органа. Ведь петроградская Коллегия по положению могла действовать лишь в пределах старой столицы и прилегающих к ней районов. А как же быть с произведениями искусства, реликвиями старинными во всех остальных городах, во всех селах и деревнях страны?

Поначалу казалось, вопрос решится сам собой. Вернее, Советской властью, проявлением ее созидательной силы. Уже с начала 1918 года по инициативе губернских исполкомов местные органы охраны — комиссии — были образованы в Москве и Орле, Смоленске, Томске и Владимире. Стараниями их сотрудников была обеспечена неприкосновенность, сохранность Кремля в Москве, усадеб «Кусково», «Останкино», «Архангельское», дома П. И. Чайковского в Клину, Успенского и Дмитриевского соборов, Золотых ворот, церкви Покрова на Нерли, музея народного творчества Тенишевой, всемирно известных Гнездовских курганов на Смоленщине...

Но работа первых местных органов охраны, к сожалению, страдала и серьезными недостатками. Зависела она от весьма субъективного фактора — научных интересов, пристрастий сотрудников губернских комиссий. А это, естественно, вело к крупным упущениям. Но даже и в таком виде велась работа далеко не безупречно.

В Москве, например, просчеты П. П. Малиновского привели к тому, что уникальное собрание Патриаршей ризницы осталось без охраны и было разграблено. Серьезные утраты во время разгрома в городе анархистских банд понесли и некоторые крупные частные собрания. А весной к этому прибавился еще и конфликт между специалистами Петрограда и Москвы, раскол в самой московской комиссии. Подвергнутый необоснованной травле И. Э. Грабарь и его коллеги по музейной деятельности — Н. Г. Машковцев, А. В. Бакушинский, Н. И. Романов, некоторые другие вошли в созданный по решению Всероссийского кооператорского съезда общественный Комитет по охране художественных сокровищ.

28 мая 1918 года на заседании Большой государственной комиссии по просвещению обсуждали вопрос о положении с музейным делом, охраною памятников. Отметили, что они не решены и при существующих условиях вряд ли будут решены быстро, успешно. И потому А. В. Луначарский предложил объединить все имеющиеся силы, всю работу в одном — республиканском органе. Государственная комиссия согласилась с предложением наркома и постановила: создать в структуре Наркомпроса Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины.

#### ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

С этого момента не только началось планомерное формирование единой сети государственных органов охраны памятников, уже вскоре добившихся удивительных успехов. С этого же момента и правотворчество, направленное на то, чтобы сберечь, демократизировать культурно-историческое наследие, вступило в новый этап.

30 мая 1918 года Совнарком утвердил постановление «О запрещении вывоза за границу картины Боттичелли (тондо)». Его принятие было вызвано неудачной попыткой бывшей княгини Е. П. Мещерской продать принадлежавшую ей «Мадонну с младенцем» германскому послу графу Мирбаху. Попыткой, пресеченной работниками ВЧК.

Казалось бы, не допустили преступную по отношению к стране, нации сделку, и хорошо. В конце концов даже работа итальянского живописца XV века вряд ли заслуживает особого правительственного декрета. Однако В. И. Ленин, скрепляя акт своею подписью, исходил не из единичного факта. За несостоявшейся сделкой видел он сотни состоявшихся. Тех, из-за которых в предреволюционные годы навсегда ушли из страны великолепные произведения, украшавшие частные коллекции князей Сан-Дonato (они же Демидовы), Юсуповых, Кудашева, Чегодаева, Салтыкова, Деларова, многих иных.

Совнарком особым пунктом этого декрета потребовал от Наркомпроса незамедлительно выработать проект закона, о котором не одно десятилетие мечтали ученые — патриоты России. Закона, который бы раз и навсегда положил конец беззащитному расхищению культурно-исторических сокровищ республики.

19 сентября В. И. Ленин подписал должный, крайне необходимый, особенно в условиях гражданской войны, декрет «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения».

5 октября был принят еще один, не менее важный, основополагающий декрет — «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». В соответствии с ним основой охраны культурно-исторического наследия должны были стать точный учет, регистрация «всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины как в виде целых собраний, так и отдельных предметов, в чем бы обладании они ни находились».

Так Советская власть менее чем за год сделала то, что не смогла сделать царская Россия за 48 лет, если считать вести от первого предложения ввести в стране государственную охрану памятников, предложения, выдвинутого I археологическим съездом. Теперь дело зависело лишь от специалистов, от того ведомства, которому и предстояло сохранять памятники истории и культуры. А они сделали, казалось, невозможное.

Не потому, что уповали на силу закона, хотя каждый декрет, каждое постановление такого рода предупреждало об ответственности. И не потому, что уповали на организацию как таковую — сам Отдел, его местные органы, которые были образованы, и с весьма значительными штатами, во всех губерниях, во многих уездах.

Причина успехов крылась в ином. Сотрудники Отдела, его местных органов были убеждены в своей правоте, в том, что поступать необходимо только так, а не иначе. Они не жалели своих сил, времени. Если надо было, отправлялись по бездорожью, подчас под огнем неприятеля, ибо знали: завтра будет поздно. Знали: если не они, то кто же?

Но была и еще одна, весьма важная причина успехов. Действовали не чиновники, а специалисты, обладающие знаниями, готовые в любую минуту принять мотивированное ответственное решение. Действовали вместе, рука об руку историки, археологи, искусствоведы, архитекторы, музейные работники, объединенные одним Отделом по делам музеев и

охране памятников искусства и старины. Одно учреждение соединяло все дело сохранения и использования культурно-исторического наследия. И выявление, и взятие под охрану, и реставрацию, и музеефикацию, и руководство всеми этими, подчас первыми за всю историю края, картинными галереями, мемориалами, заповедными усадьбами, дворцами, монастырями.

Отсюда и результаты. За три года найдены, изучены, переданы центральным и местным музеям свыше 400 тысяч (!) разнообразнейших произведений искусства, реликвий старины. За те же три года революции и гражданской войны обследовано, изучено 540 усадеб. Разумеется, лишь старинных, считавшихся потенциальными сокровищницами. 19 самых интересных, а среди них такие ныне широко известные, как «Архангельское», «Останкино», «Кусково», «Мураново», «Абрамцево», «Ясная Поляна», сохранили в полной неприкосновенности, преобразовали в историко-культурные музеи.

Так же поступали и после обследований тысяч церквей, сотен монастырей. Самые интересные по стилистике архитектуры, количеству сохранившихся подлинных реалий далекого прошлого преобразовывали в музеи: соборы Московского Кремля, Новгорода, Пскова; Троице-Сергиеву лавру, Оптину пустынь, Иверский Валдайский, звенигородский Саввино-Сторожевский, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастыри...

И еще один аспект работы, на первый взгляд самый невероятный, — реставрация памятников архитектуры. Да, кругом шли бои. Не хватало самого необходимого — керосина и хлеба, соли и одежды, оружия. Но все же начали восстанавливать Георгиевский собор в Старой Ладобе, Благовещенский и Введенский в Солевычегодске, церкви Спаса на Нередице и Федора Стратилата в Новгороде, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Московский Кремль, самые ценные постройки Ярославля, пострадавшие в дни белогвардейского мятежа.

Да, были успехи, и немалые. Но потом пришли и неудачи. Пришли позже, уже в 20-е годы. Тогда, когда Совнарком РСФСР, исходя из декрета «Об учете», и потребовал от Наркомпроса на утверждение тот самый список монументальных, или, говоря современным языком, недвижимых, памятников. Тот, без которого нельзя было ни охранять памятники, ни планировать расходы на их реставрацию, содержание.

Потребовал осенью 1922 года. Дважды повторил требование в 1923 году, и снова в 1924, 1928 годах. К этому времени такие списки уже действовали в Грузии и Белоруссии, Узбекистане и Туркмении... Но только в 1935 году, и то лишь после вмешательства комфракции Президиума ВЦИК, удалось в какой-то степени выйти из положения. Список, правда, весьма приблизительный, ибо охватывал он лишь меньшую часть территории Российской Федерации, был все же утвержден, стал государственным актом.

С тех пор минуло более полувека. Не раз ломали структуру государственных органов охраны памятников, передавали их из ведомства в ведомство, делили между ведомствами. Вновь и вновь требовали закончить выявление памятников, провести их изучение, паспортизацию, включить в государственный список. Но годы шли, а свидетели старины седой редели — по вине нерадивых сотрудников Министерства культуры, хозяйственников, работников исполкомов. И проблема — главная, волнующая все большее и большее число людей — не решалась.

Между тем менялось наше представление о том, что же необходимо

сохранить, оставить будущим поколениям.

На заре Советской власти довольствовались спасением движимых, наиболее подверженных угрозе гибели, расхищения, исчезновения памятников. Бесположились об отдельных, самых выдающихся произведениях зодчества, наиболее сохранившихся усадьбах, церквях, монастырях.

Сегодня нам всего этого мало. Пытаемся сберечь уже не отдельные памятники, а всю историко-культурную среду, которой пока еще располагаем. Оцениваем же работу, видим ее не в том, что потеряли или теряем, а в цифрах, количестве памятников, которое растет как снежный ком.

За счет чего же неумолимо возрастает это число? Теперь, как ни странно, причисляем мы к памятникам только что открытые монументы, мемориалы, которые в действительности лишь отмечают места исторических событий, характеризуют не прошлое, а наше, сегодняшнее отношение к минувшему. Стали считать памятниками и совершенно невероятное — «макеты в натуральную величину». Новоделы, заменившие утраченное. И при том не находим времени позаботиться о подлинных исторических реалиях. Даже о тех, которые вопиют о спасении.

Теряя, спорим до хрипоты, ищем виновных — но обязательно вокруг себя, в стороне, и потому обходим важнейшее, но все еще не решенное. То, что не успели сделать в годы революции и гражданской войны. То, что и объясняет наши просчеты, ошибки, неудачи.

Если не ликвидировать эти просчеты сегодня, завтра даже говорить о них будет бессмысленно. Мы утратим, и утратим безвозвратно, то, что еще можно сберечь.

Есть ли для этого возможности, силы? Без сомнения. Сегодня мы располагаем мощным Министерством культуры, научно-исследовательскими институтами, имеем самым самым прямым отношением к судьбе культурно-исторического наследия. Наконец, республиканские общества охраны памятников, Советский фонд культуры. Есть и средства, и поддержка партий, государством.

Гигантская сила, но пока распыленная, используемая далеко не самым эффективным способом. Потому-то и выход здесь один: осознать необходимость, неминуемость перестройки, провести ее. Возвратиться к тем методам, тем формам охраны памятников, которые были рождены Великой Октябрьской социалистической революцией.

А самое, пожалуй, главное — решить, наконец, вопрос целесообразного использования возрожденных памятников. Размещая в непригодных старинных зданиях, на реставрацию которых затрачены огромные деньги, различные конторы, медицинские учреждения, склады, гаражи и т. п., мы наносим ощутимый вред самой идее воссоздания памятников Отечества. Право, не так уж много их осталось на нашей земле, и пусть будут в них музеи, культурные центры, выставочные залы. Вот проблема, занятием которой может и должен набирать сейчас силу Советский фонд культуры.

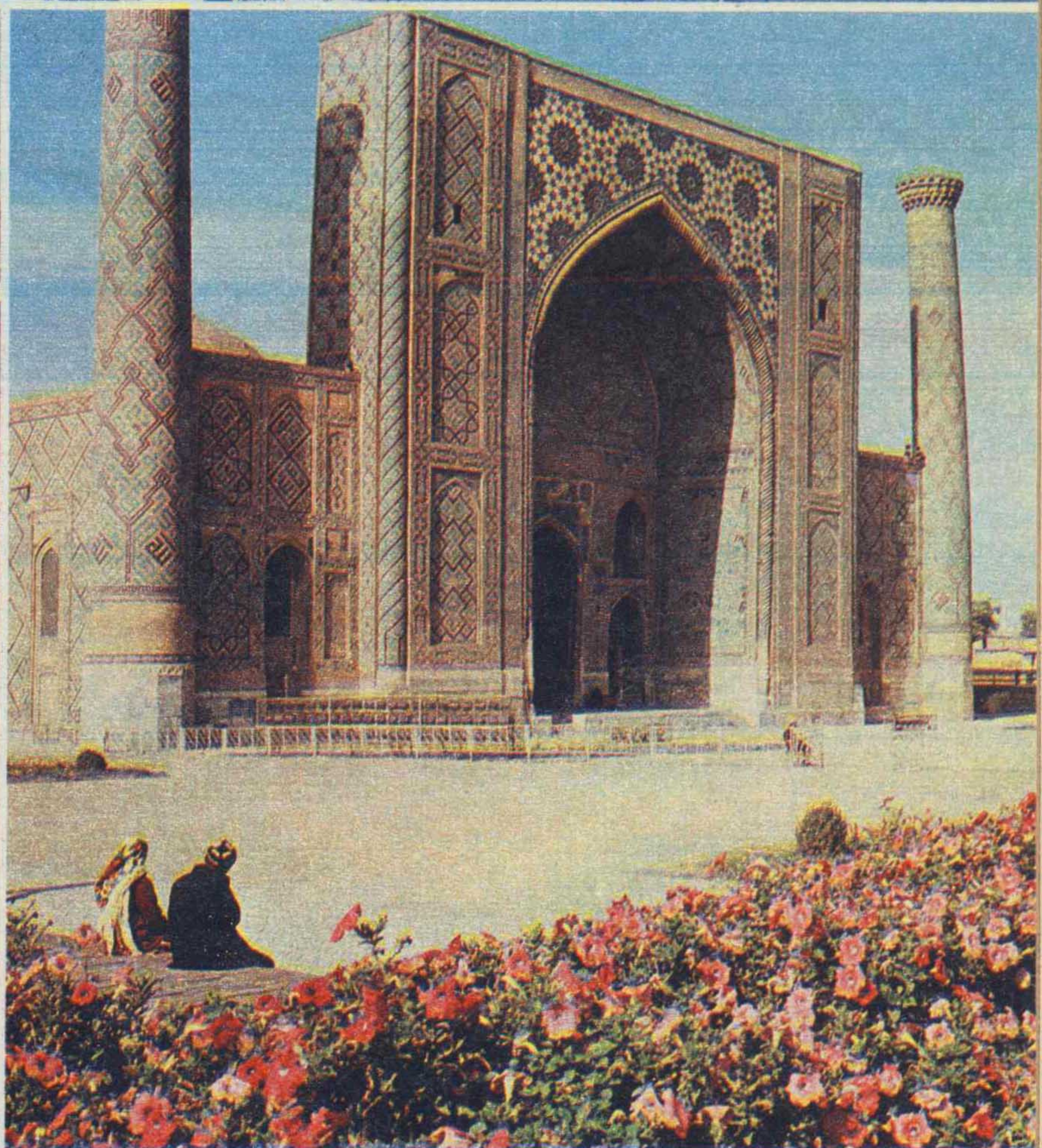
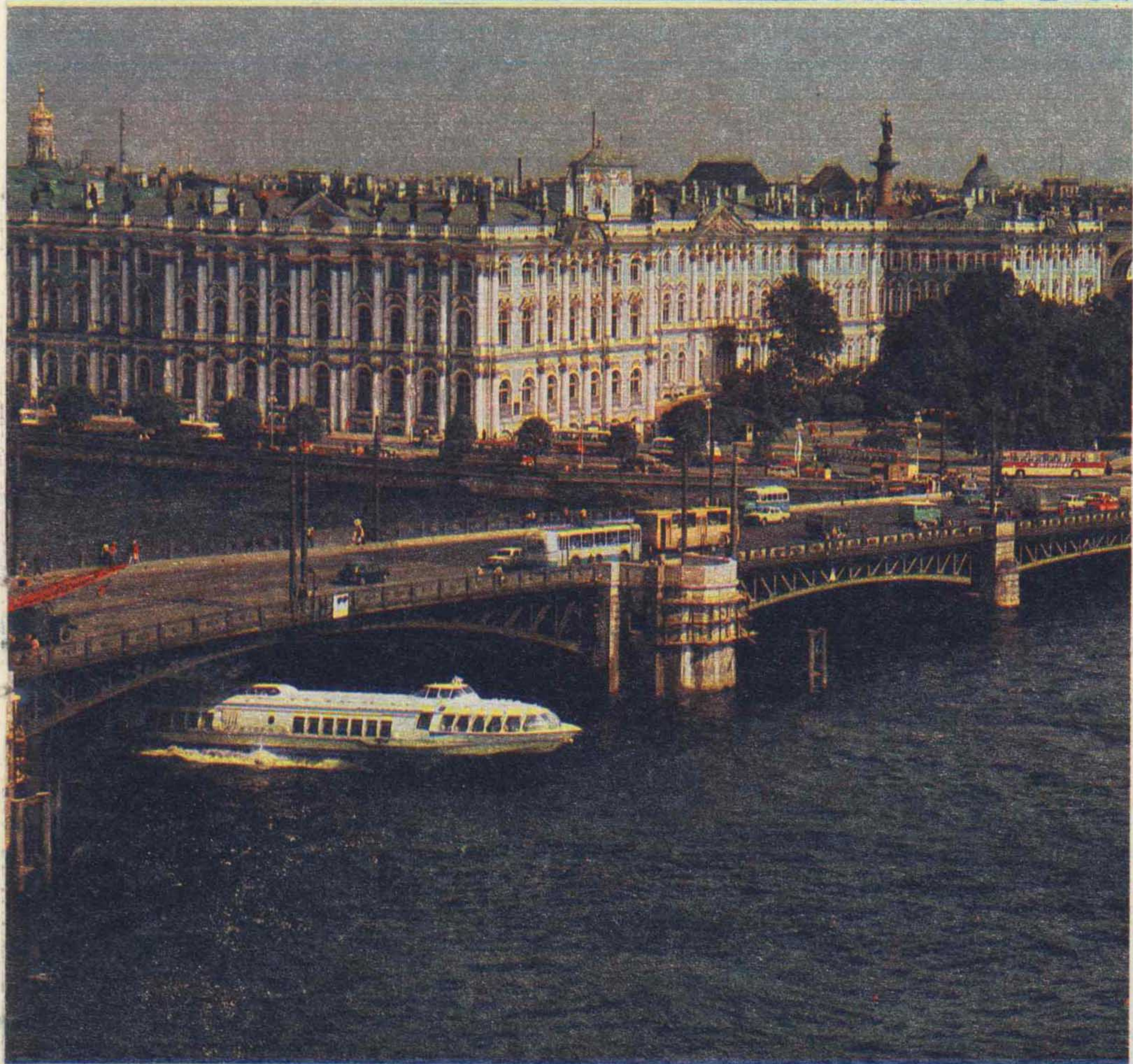
●  
Московский Кремль.

●  
Ленинград. Зимний дворец.

●  
Самарканд. Регистан.

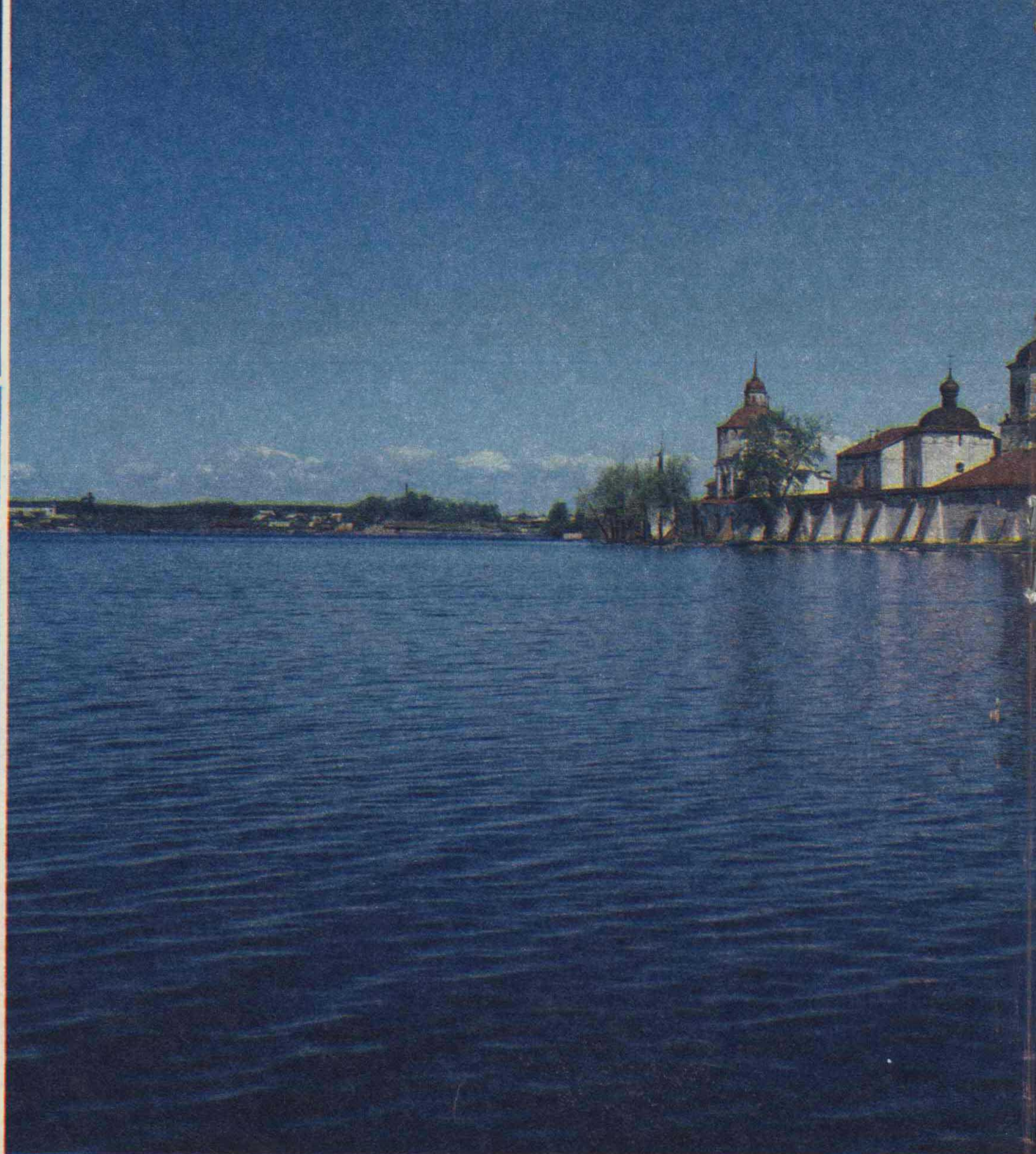
●  
Фото Вадима Гиппенрейтера, Алексея Гостева, Николая Козловского, Виктора Яковсона.



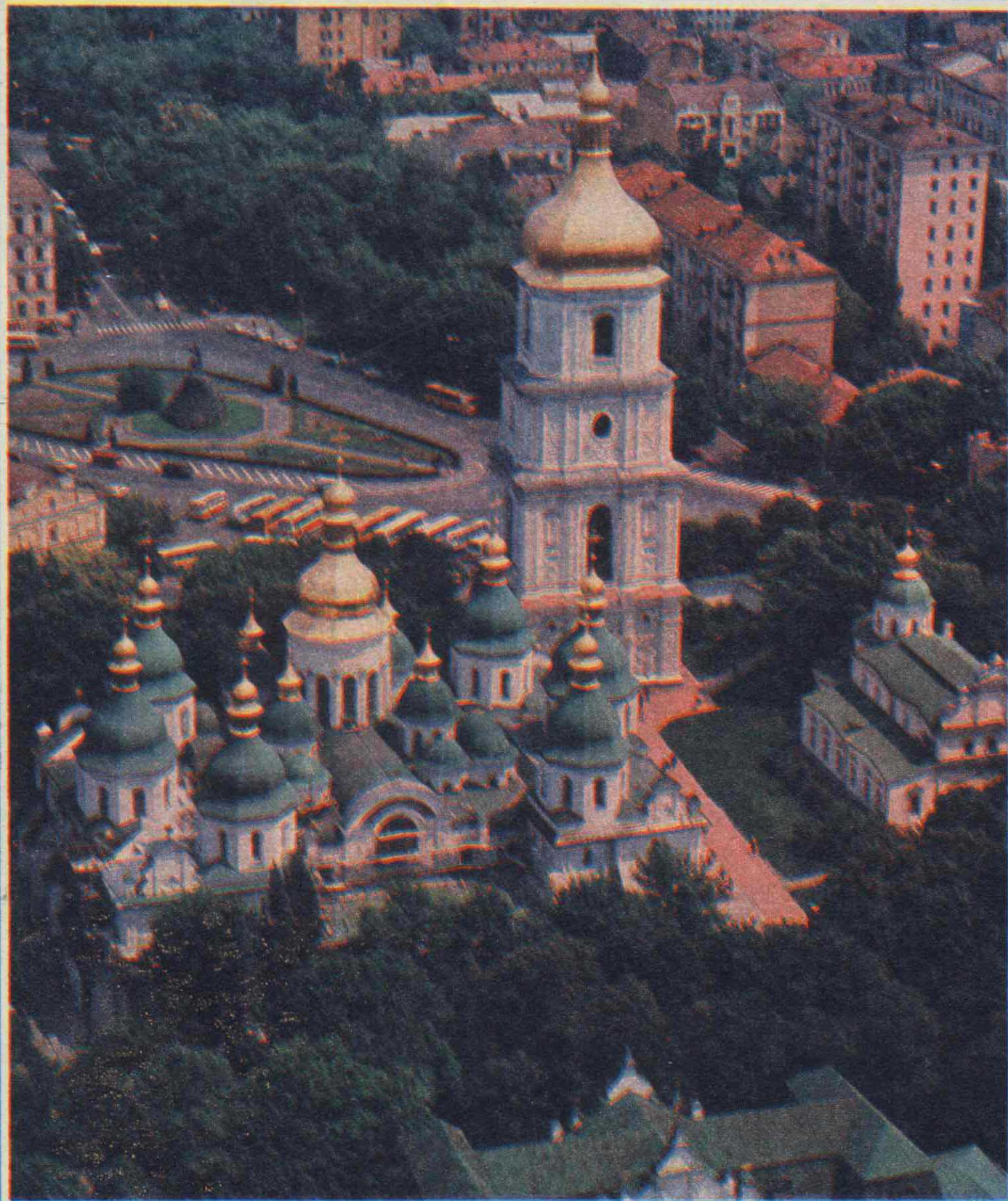
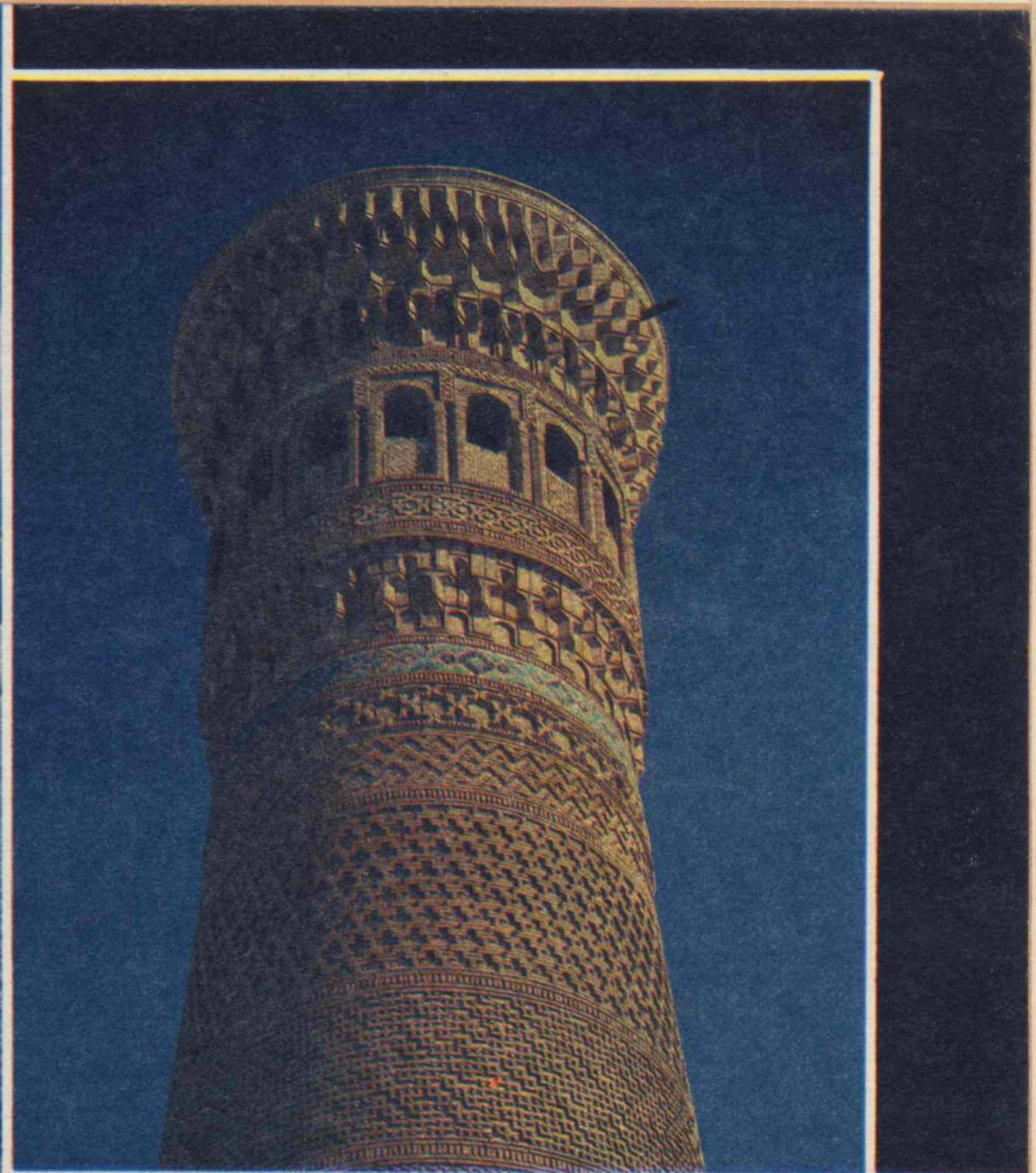




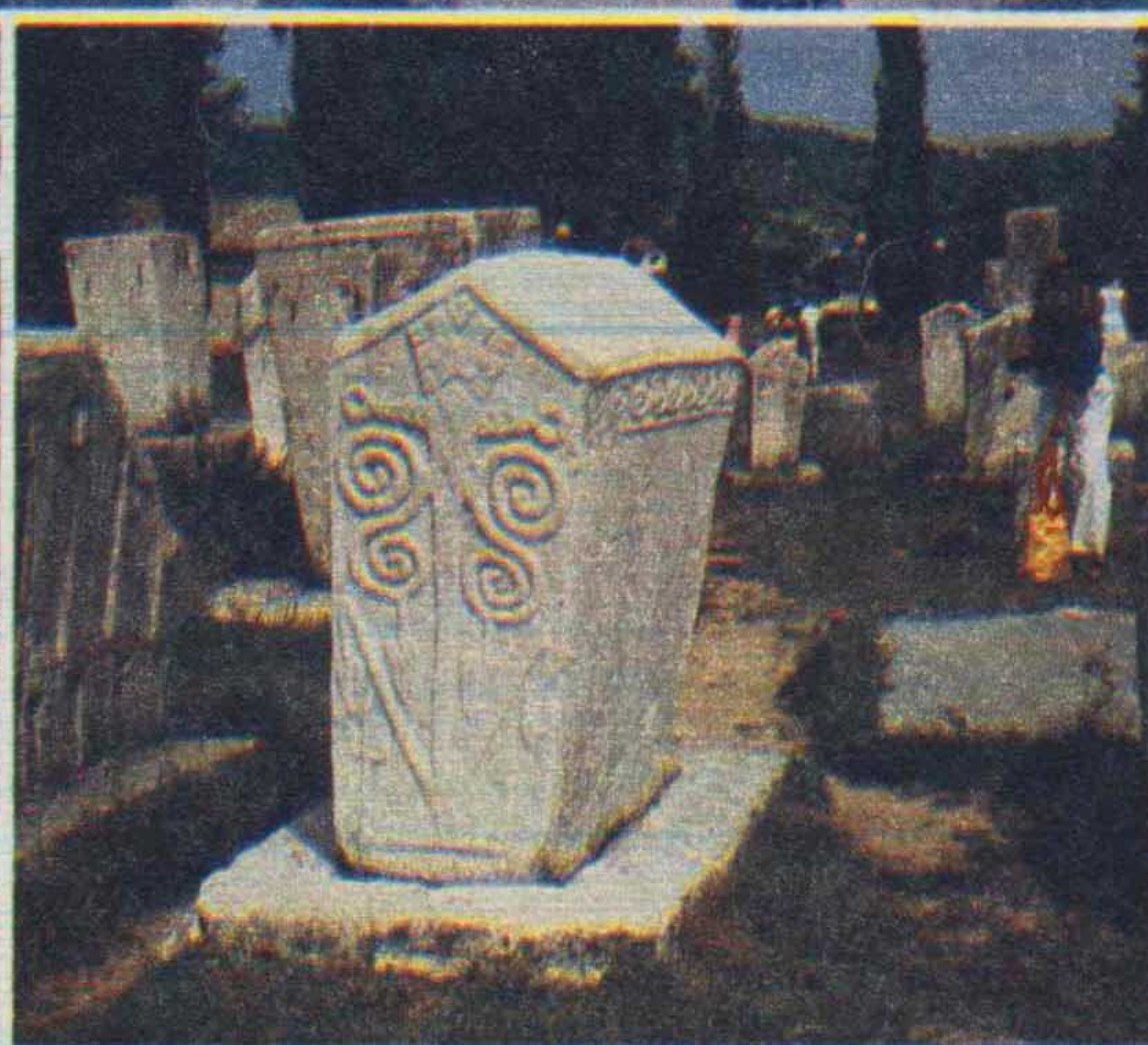
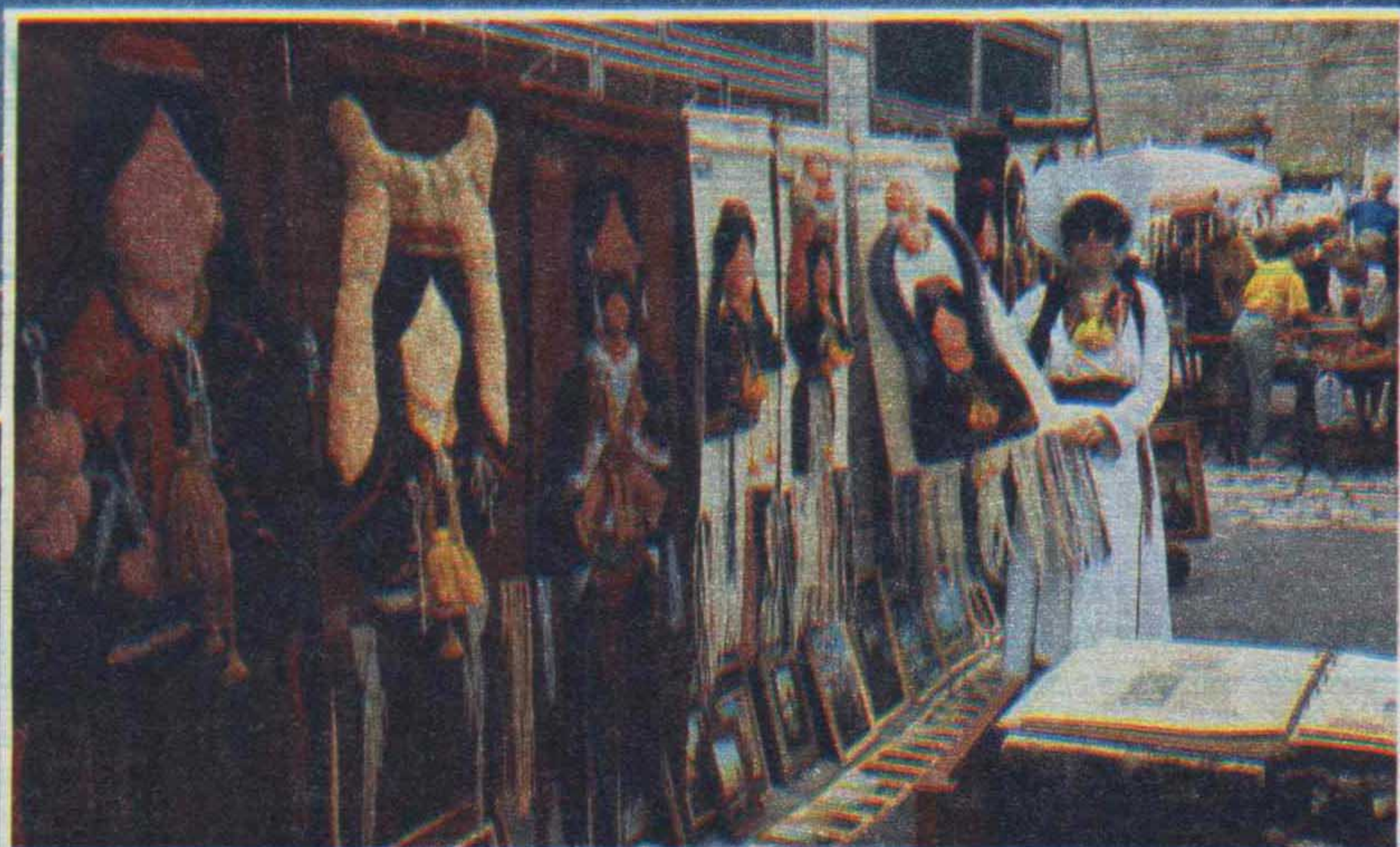
ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ДОМ Л. Н. ТОЛСТОГО.  
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ.  
БУХАРА. МИНАРЕТ КАЛЯН.  
ПСКОВ. КРЕМЛЬ.  
КИЕВ. СОФИЙСКИЙ СОБОР.  
ЯРОСЛАВЛЬ. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ  
СОБОР.











МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ  
ИГРАЕТ ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕН-  
НУЮ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ  
ЮГОСЛАВИИ, ОН ДАЕТ ЕЖЕ-  
ГОДНО БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИ-  
АРДОВ ДОЛЛАРОВ.



● ЭТО НЕ ПРОСТО  
ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ,  
А ПЕРВОКЛАССНЫЙ  
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬ,  
УСТРОЕННЫЙ  
В СТАРИННОМ  
РЫБАЦКОМ ПОСЕЛКЕ  
НА БЕРЕГУ АДРИАТИКИ.

● ДЕРЕВЕНСКАЯ  
МАСТЕРИЦА  
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ ИЗДЕЛИЯ  
НА МЕСТНОМ РЫНКЕ.

● ДРЕВНЕЕ  
СЛАВЯНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

● ТУРИСТЫ  
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН  
В ВОСТОРГЕ  
ОТ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ.



# ИНДУСТРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ТУРИЗМА

Владимир НИКОЛАЕВ,  
специальный корреспондент  
«Огонька»,  
фото автора

**В** Дубровнике беседу с одним из руководителей местного туризма, Ведраном Хамовичем. Я здесь в третий раз, впервые был еще в 1959 году, могу судить о том, как растет и совершенствуется прославленный курорт на Адриатике.

Мы встретились в отеле «Бельведер», который здесь считается лучшим. Как и многие другие гостиницы, он удачно вписан (прямо-таки встроен) в белые прибрежные скалы и уступами спускается к морю. По своей архитектуре и качеству внутренней отделки он не уступает самым первоклассным отелям известнейших мировых курортов. А спроектирован и сооружен отель местными специалистами из местных материалов. Я отдаю должное мастерству строителей, мой собеседник в ответ на это замечает, что «Бельведер» являет собой уже вчерашний день, отстаёт от современных тенденций в развитии туризма.

В чем же дело? Оказывается, многих туристов гостиница как таковая сегодня не устраивает. Люди, говорит Хамович, устали от стрессов и издержек современной цивилизации, одним из выразителей которой является также и отель с его бесчисленными службами и услугами. Да, все эти рестораны, бары, дискотеки и тому подобное не каждого устраивают, туристы хотят отдыхать иначе, отключившись от привычных примет массовой культуры отдыха и развлечений, хотя бы побыть одни или в обществе своих самых близких людей. Поэтому на Западе, продолжает мой собеседник, уже несколько лет назад начали строить гостиницы не с обычными номерами, а с квартирами, где человек может чувствовать себя как дома. Заняв такие апартаменты (даже со своей кухней), он может, если желает, вообще обойтись без посторонней помощи. Сегодня в Югославии строят много гостиниц именно такого типа.

Я встречался с несколькими руководителями туризма в Югославии, и каждый был не только откровенен со мной, но и самокритичен. Я говорил им, что хочу рассказать в «Огоньке» об их малом опыте, а они отвечали, что все еще заметно отстают от лучших мировых стандартов. Для начала мне об этом прямо заявил в Белграде генеральный секретарь Ассоциации по индустрии туризма в Югославии Иван Авжнер (эта ассоциация находится в ведении торговой палаты). С его точки зрения, узкими местами в сложном туристском хозяйстве до сих пор являются водоснабжение, телефонная связь, транспорт, проблема транзитных пассажиров, а также сервис и подготовка квалифицированных кадров. Иван Авжнер сказал, что в Югославии, несмотря на то, что буквально вся страна (не только морское побережье!) богата курортами, нет достаточной культуры обслуживания туристов, поскольку местное население не считает эту работу престижной, достойной, мало идет в эту сферу обслужи-

вания молодежь. В Швейцарии, например, которую, как и Югославию, тоже можно назвать страной курортов, работа в сфере обслуживания туристов является весьма почетной и традиционно уважаемой.

Здесь же к такому уважению и умению еще надо приучать. Для этого делается немало. В стране есть средние школы, где готовятся кадры по обслуживанию индустрии туризма, в них поступают подростки 14 лет и учатся там до 18 лет. Следующая ступень подготовки таких кадров — учебные заведения, где окончившие эти школы повышают свою квалификацию в течение трех лет. Примечательно, что есть факультет туризма в университете. Но все равно, подчеркивает Авжнер, пока кадров не хватает, в разгар сезона приходится нанимать людей со стороны. Мои собеседники еще отмечали, что, с их точки зрения, в стране слишком много туристских организаций, можно было бы и поменьше, что способствовало бы концентрации средств и усилий.

Размах туризма в Югославии объясняется еще и гармонией между его государственным и частным секторами. И дело не только в том, что отели, пансионаты и кемпинги не в состоянии обеспечить всех желающих. Немало людей хотят провести свой отпуск на лоне природы, в деревне, в рыбацком поселке, в горном селении... Поэтому отлажена система сдачи внаем комнат, квартир и домов. Когда я вернулся в Белград и рассказал моим югославским знакомым, где побывал и как жил, они ответили, что я получил бы больше удовольствия, если бы останавливался в частных домах. В беседе с Иво Арменко, одним из руководителей туризма в Черногории, я специально поинтересовался взаимоотношениями местных жителей, сдающих комнаты и квартиры туристам, с финансовыми органами. Еще ранее я приметил, как всюду много строится новых личных домов, которые сооружаются явно с «запасом», в расчете на сдачу туристам. Не «прижмет» ли таких домовладельцев фининспектор, спросил я у Иво Арменко. В ответ он улыбнулся и сказал, что не посмеет «прижать», поскольку в этом краю туризм командует всем, потому что приносит большую выгоду. Эта истина касается не только Черногории. Есть и другая любопытная разновидность заботы о туристах: неподалеку от больших отелей, используя их как базу, строят специальные деревни для тех, кто предпочитает именно такой отдых. Дома и комнаты в такой «деревне» сдаются через отель. А вообще снять комнату, квартиру или дом у частника можно через местное туристское агентство. Немало есть молодежных международных лагерей и пансионатов, где стоимость проживания значительно дешевле, чем в обычных туристских центрах. Кстати, будучи еще молодым журналистом, я провел две незабываемые недели в международном молодежном лагере на югославской Адриатике (палатка на двоих, столовая, танцплощадка, пляж). Ко всему

сказанному надо добавить, что быстро растет количество мотелей вдоль живописнейших дорог страны, только за последние годы их выстроили более 120. Короче говоря, как мне сказали в Югославии, отдохнуть там можно «на любой вкус и за любые деньги».

Иностранный туризм дает Югославии более двух миллиардов долларов в год. Столько валюты не приносит стране никакая другая отрасль экономики. За единицу статистики здесь берется одна туристская ночь. В 1986 году их было более 50 миллионов за счет иностранных туристов и 60 миллионов — за счет своих. Более 90 процентов иностранных туристов было из Западной Европы, США, Канады и других стран Запада. Как же устраиваются все они в Югославии? Согласно справочнику за 1987 год, в стране 1 300 000 мест для туристов, одна треть в отелях, две трети — в частном секторе.

Живописная природа, благодатный климат, удобное географическое положение, многочисленные культурные и исторические памятники — вот основа индустрии туризма в Югославии, которая используется здесь с достаточной эффективностью. Чарующие глаз плодородные долины соседствуют с удивительной красоты горными хребтами, виноградные края обрамлены девственными, порой непроходимыми лесами, много — прямо-таки сказочных горных озер и диких речных каньонов. И наконец, солнечный морской берег соседствует с вечными снегами в горах. Мало этого! Вдоль побережья — бесконечная цепочка зеленых островов. Вот еще любопытная статистика. Адриатическое побережье страны по прямой линии тянется на 628 километров, а с учетом бухт и заливов — более чем на две тысячи километров. А островов насчитывается 725, их общее побережье вытянуто на более чем семь тысяч километров, причем только 66 из них населены. Огромный резерв для развития уникального курорта! А как прекрасен всемирно известный туристский и курортный центр Дубровник с его крепостными стенами и башнями X—XV веков, почти не тронутыми временем! Но и с этой жемчужиной Адриатики по праву соперничает немало других, таких, как Сплит, Будва, Опатия... Кстати, зимние курорты страны — существенная составная часть ее туристского бизнеса. Мне говорили в Югославии, что во всем мире растет популярность зимних видов спорта, особенно лыж. Поэтому здесь и уделяется такое внимание зимнему туризму.

Кроме моря и снега, турист найдет в Югославии еще немало привлекательного. Если три четверти ее земель составляют горы и долины, то леса и в наше время занимают 34 процента территории, то есть для отдыха и охоты — раздолье! Есть олени, медведи, серны, кабаны, фазаны, утки, гуси... А рыбалка! В озерах и реках здесь насчитывают 365 видов рыб. Немалую прелесть придают югославской земле ее реки, поэтому популярен туризм на плотах, «самый древний вид туризма», как здесь говорят. И наконец, в стране более ста курортов с минеральными водами и лечебными грязями, они известны еще со времен древних римлян.

Знакомая с организацией туризма в Югославии, я просмотрел несколько книг и брошюр, одна из самых содержательных из них оказалась под таким названием: «Туризм. Куда, как и почему вкладывать деньги в Югославию». То есть руководители туризма в стране поощряют иностранные вложения, активно сотрудничают с другими странами. Делается это, разумеется, на определенных условиях, в рамках существующих законов, но

главное, в интересах взаимной выгоды.

Спрашивал я, конечно, и о развитии советско-югославского туризма, о связях между нашими туристскими организациями. По сравнению с Югославией эти связи никак им не соответствуют. Возможно, их расширение — дело непростое, зависит от многих факторов. Но югославский опыт развития туризма нам, по-моему, вполне доступен. Нам у них есть чему поучиться.

Туризм — это не только общение с природой, но и с людьми. Первым полпредом в таком общении является, естественно, гид. Он возглавляет экскурсии по множеству увлекательных маршрутов, и эти сухопутные, речные и морские путешествия составляют очень важную часть туристской индустрии (и, разумеется, приносят немалую прибыль). Как же это делается?

Наш гид, молодой, высокий и красивый брунет, сопровождает нас, международную группу туристов, в поездке в рыбацкую деревню. Рано утром автобус собирает участников экскурсии по их отелям, затем через Дубровник едем в порт. Там перебираемся на специально оборудованный для этой цели корабль (с машиной и парусами). Два часа по изумрудно-голубой глади Адриатики. Впечатление такое, что все время плывем по широкому фиорду. Это из-за того, что по оба борта проплывают острова. Но вот и наш берег. В деревне нас уже ждут. Под навесом, прямо на берегу, накрыты столы. Появляется местный оркестрик, а наш гид вооружается аккордеоном. С этого момента он становится не только музыкантом, но и запевалой, дирижером, масовиком и тамадой. На столах — местные вина и неведомые, наверное, большинству собравшихся дары моря. Незнакомые до этого люди, да еще из разных стран, быстро сближаются. В этом заслуга не только застолья. Наш гид устраивает столько забавных шуточных игр и развлечений, что все просто устают от смеха. Солидные, замкнутые, даже чопорные туристы на глазах превращаются в детей. Это трогательно и заразительно. И удивительно, особенно если учесть, что большинство — люди пожилые и старые (вообще всюду в мире составляющие основную массу туристов). Понятно, что для гида это ежедневная работа, наверное, он дополнительно получает и за аккордеон, и за пение, но для всех собравшихся такой обед — гвоздь этого дня, воспоминание надолго. И незаметно, чтобы гид тяготился своими служебными обязанностями, все у него получается, естественно и легко, без натуги.

Другая экскурсия. На автобусе в деревню, которая славится своими умельцами и танцорами. Воскресенье. В центре — традиционный базар. Чего здесь только нет! Рукоделье, наряды, всевозможные поделки из дерева и керамики — все это местное, тайные ремесла передаются из поколения в поколение веками. Рядом с базаром идет дегустация местных вин. А затем на центральной площади, у церкви, в которой только что закончилась служба, устраивается концерт. Под оркестр из народных инструментов танцуют в народных костюмах жители деревни, и стар, и млад. Сотни туристов окружили площадь, и восторгам нет конца. Традиционное представление? Для деревни и ее жителей, конечно, но все приехавшие видят это впервые. И видят искусство подлинное, местное, народное. Сколько взаимного тепла рождает такая встреча! И сколько валюты остается в итоге в деревне! А по большому счету — в Югославии. Скажете: это мелочь! Но мне говорили в Югославии, что успех туризма складывается из мелочей...



Полковник Мальцев просит уволенного со службы журналиста-международника Ростислава Знаменского помочь отыскать человека, с которым Ростислав летел в самолете, когда по заданию бывшего следователя Ашира Атаева совершал поездку по Туркмении, собирая сведения о посевах опийного мака. Тот представился сценаристом Сушковым, а на самом деле занимался перевозкой наркотиков. Знаменский понимает, что только он может помочь Мальцеву, и решает ехать в Москву. Полковник предполагает, что разыскиваемый человек может иметь какое-нибудь отношение к кино, раз представился Ростиславу сценаристом. Поэтому Знаменского направляют на работу в Госкино, где он переводит на закрытых просмотрах зарубежных фильмов. Вместе с ним ездит и старший лейтенант Брагин, чтобы помочь задержать преступника.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА



# ДАЮ УРОКИ-2

**З**наменский поспешно вошел в кабинет Ивана Павловича, который тоже был, по сути, превращен в комнату-музей, но только тут иные были подарки выставлены. Тут развешаны по стенам были клинки, ятаганы, кинжалы и сабли, лиловато поблескивающие сталью, тускло мерцающая старинным чеканом серебра на ножнах. И висели охотничьи ружья, тоже с драгоценными ложами, инкрустированными или в тонкой чеканке. Арсенал просто какой-то. А стол письменный был завален грудами папок, парчовых, золотом тисненых адресов. Музей, музей.

Но в этом музее был маленький столик, уставленный телефонными аппаратами, где был и аппарат с государственным гербом на диске. Трубка с этого желтого аппарата была снята, ждала его, Знаменского. Кто это мог быть?

— Думал, что меня... что прорезался голосок,— сказал Иван Павлович, не скрывая растерянности и недоумения.— Нет, оказывается, тебя.

Знаменский взял желтую трубку, которая ожидала его, но, прежде чем откликнуться, вслушался в слабый гул, живший в этой трубке. Из иных миров гул. Судьбоносный вроде бы. Вот зазвучит вслед за этим гулом голос и начнется Судьба.

— Знаменский у телефона,— сказал он.

Гул еще продлился немного, не гул, а какой-то звон, тоненький, из бесконечного далека звоночек, школьный тот самый звоночек, который

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—33.



сзывал слишком уж далеко отбежавших от своей школы на перемене ребяташек, приказывая им возвращаться. И вот заговорила трубка, подал голос аппарат с государственным гербом, это судьбоносящее устройство. Голос Судьбы оказался голосом всего-навсего Пети Брагина.

— Ростислав Юрьевич, это вы?! — ворвался в слабый звон свежий и напористый голос Пети. — Я из конторы звоню. Умолил диспетчера. Ну, новость! Ведь я его вспомнил, вспомнил! Представляете? Встал в глазах! Промелькнул, вернее! Тепло, тепло, Ростислав Юрьевич! И даже — горячо!

— Кто встал в глазах? — спросил Знаменский, отделяя свежий голос Пети от далекого и чуть слышного звона, но вслушиваясь больше в звон, чем в громкие слова.

— Подробности при встрече! Простите великодушно! Ясное дело, дача, выходные, но... Горячо, горячо, клянусь! Через час жду вас на нашем пятачке! Уложите! —

Знаменский ответил не сразу. Звал его звоночек чуть слышный, приказывал, и он знал, что сядет сейчас в машину и рванет в Москву, к их с Петей пятачку, к условленному месту встреч, к решетчатой ограде Цветного бульвара напротив Центрального рынка, где легко всегда было парковаться. Страшно не хотелось ехать. Он медлил, не отвечал, отыскивая слова, чтобы отказать, хотя знал, что поедет, придется поехать.

— Служба у нас такая, Ростислав Юрьевич! — подталкивал его на решение напористый голос Пети. — Ничего не попишешь...

Служба?! Что за служба?! Знаменский уперся глазами в стену, упираясь, сопротивляясь. Ни у кого он не служит! Его глаза, упершиеся в стену, столкнулись, встретились с тускло отсвечивающими на стене клинками, ятаганами, кинжалами, саблями. Они ударили, эти стальные знаки, по глазам, кольнули в бок, напомнили. И они показались деревьями, горькими кладбищенскими стволами. Вгляделся... Между этими стволами протянулась цепочка взявшихся за руки ребяташек. Впереди шла мать, неся самого маленького, позади брел большеголовый пес, охраняя. Дети Ашира...

— Еду, — сказал Знаменский. Он медленно опустил трубку на аппарат с гербом.

Иван Павлович не стал спрашивать зятя, кто ему звонил и куда он собрался ехать. Иван Павлович уважал голос этого телефона, судьбоносность его.

Жена и теща тоже ни о чем не спросили, когда Знаменский быстро прошел через гостиную. Хрусталь и тот примолк. В этом доме знали что к чему. А что они знали?

10

Хорошо гнать по так называемому правительственному шоссе, когда сидишь за баранкой «мерседеса». Никто не остановит, хоть ты и идешь с явным превышением скорости. Гаишники как-то стыдливо отворачиваются, встречные машины на всякий случай притормаживают. Власть катит. Связи проносятся. Езда без правил — удел избранных, которые все еще живут и здравствуют. Избранные — они живучи. Сие заслуживает осуждения, конечно, но все же хорошо гнать по уступчивому шоссе, это утверждает тебя в собственных глазах, вселяет мужество.

И по вечерней Москве так ехал, набираясь мужества, которое, он чувствовал, ему может понадобиться, и уже очень скоро. А что это такое — мужество? Натренироваться на кортах мужеству нельзя. И, подучившись боксу или самбо, ты еще не подучился мужеству. Нет, это все не то, не то. Мужеству невозможно подучиться, натренировав тело. Разве что уверенность обретишь. Но уверенность — это не мужество. А что такое мужество? Ашир Атаев был мужественным, вот он был мужественным.

Напротив Центрального рынка, где в эту вечернюю пору было безлюдно и безмашинно, маячила высокая фигура Пети, молодого человека, продрогшего в легкой курточке, заждавшегося девушки, которая почти наверняка не явится, поскольку девушки не очень-то уважают молодых людей, назначающих свидания у рынка. Но, оказываясь, вовсе не девушку ожидал этот продрогший молодой человек. Едва поравнялась с ним, притормозив, машина, как он шмыгнул в нее, и машина умчалась. Не какая-нибудь там даже «Волга», а блистательно-новый «мерседес». Вот и строй предположения по поводу этих про-

двогших молодых парней. Москва, что ни говори, загадочный город. Глаз да глаз здесь нужен. Что-то именно такое, возможно, подумал милиционер, давно и сочувственно наблюдавший из глубины бульвара за продрогшим молодым человеком в легкой куртке. Милиционер был тоже молод, и он мог понять своего замерзшего сверстника, по личному опыту зная, как коварны, как не точны московские девушки. Но вот ошибся, «мерседес» подхватил этого парня и умчал. На всякий случай молодой милиционер сообщил по радиации — ему нравилось что-то да сообщать по радиации, чудо-ящичку этому, — что в направлении Трубной площади промчался на недозволенной скорости «мерседес» темного, вроде бы вишневого цвета, номер которого из-за решетки не смог разглядеть, и что «мерседес» этот у рынка подхватил, принял в себя какого-то парня в спортивной курточке, явно нашего, похоже, трезвого. Вот такие дела. Постовой на Трубной, упустивший миг, когда «мерседес» проскочил, поскольку слушал уведомление коллеги, так что номера тоже не записал, в свою очередь, передал сообщение по цепочке, что идет через центр темного, вроде бы вишневого цвета «мерседес», принявший в себя у рынка человека в спортивной куртке, и что следует на это обратить надлежащее внимание. Нет, Москва не дремлет, радиации работают, и наши молодые милиционеры, чаще всего набранные из лимитчиков, отслуживших в армии сельских парнейков, не зря по выходным смотрят все эти сериалы из жизни итальянских мафиози. Разумеется, у нас всего такого быть не может, но все-таки толкнуть по радиации сообщение про мчащийся «мерседес» приятно. Бдительность, наблюдательность красят милиционера.

— Что там у тебя стряслось? — спросил Знаменский, когда Петя плюхнулся рядом с ним на сиденье. — Что за горячка?

— Не горячка, а — горячо! Я его вспомнил, круглого, который подкатился к нам сегодня после просмотра! Встал в глазах! Промелькнул!

— Ну, вспомнил. И что же? Он вроде бы и не таился. Сам подкатился, представился. Куда рулить-то?

— Сперва в район метро «Бауманская». Там я за баранку сяду. Заглянем к моим ребяташкам сперва. А потом, если старшый согласится нас проводить, покатаем в один хитрый домик. Без старшого нас туда не впустят. Вас, потому что чужой, меня, потому что драку там затеял. Я одному серьезному как раз там морду бил.

— Из-за Иры?

— По поводу.

— Что еще за хитрый домик?

— Забегаловка, кафе местной публики, микрорайонный брейк-подвальчик. Это до двадцати трех. Ну а после... Не разбери-поймешь, что там начинается... Меня туда не пустят, а удостоверением махать там не следует.

— А этот старшый, что за старшый?

— Застанем — сами поймете. С большой буквы парень. Лишней левой кисти, когда разминировал. Имеет орден Красного Знамени. Но не носит.

— Ну, проникнем мы в эту забегаловку, а дальше что?

— Теперь там итальянские грили, финская колбаска, а главное — финское пиво. И кое-что еще, кое-что еще, но сугубо для своих. Учтите, сугубо для своих!

— Фильмишки эти по видео? Не нагляделся?

— Зачем нам с вами эти фильмишки, Ростислав Юрьевич? Мы разве ради них мотаемся? Тот круглый тогда из недр подвальчика вынырнул, когда драка началась. И был он не один. По описанию вашему, если составить портрет, был с ним тот малый из самолета, который у нас проходит по кличке «Кани мордачи». Аккуратненький, красивенький, но вроде как пожеванный. Они тогда возникли в дверях, глянули, что за драка, и слиняли. Говорю, мелькнули. Но они стоят в моих глазах, вижу их, сфотографировал глазами. А что если тот, стоявший рядом с Круглым, и есть ваш «Кани»? Версия, а? Должны мы ее проверить, Ростислав Юрьевич?

— Должны, пожалуй. Но почему они сперва появились, а потом сразу исчезли? Тебя испугались?

— Я был не один. Нас было четверо в тельняшках. Я выяснял отношения, а трое следили, чтобы нам никто не мешал. Четверка нас, афганских ребяташек, десантников... Перелицевали бы подвальчик-то... Мы зря не бьем, это известно. Мы только за дело. В порядке обороны и чувства

справедливости. Но... тут уж, господа, пощады не ждите...

— Не пойму, ты кто, офицер правоохранительных органов или парень в тельняшке?

— Сам не пойму. Когда с ними, — я сержант-десантник из Афганистана, когда на службе, — я старший лейтенант милиции. Полковник сколько раз приказывал тельняшку снять, но я то сниму, то надену. Привык. К ребятам привык. Спаялись мы под тем солнышком. Тормозните, Ростислав Юрьевич, метро «Бауманская». Теперь я за баранку сяду. Тут покружить придется.

Знаменский прижал «мерседес» к тротуару, затормозил. Не вылезая из машины, они поменялись местами — тонкие, ловко перескочили.

Но хоть этот маневр по пересадке и был совершен в считанные секунды, он был зафиксирован стоявшим у входа в метро постовым, принявшим уже весть о курсирующем по столице вишневом «мерседесе», вызвавшем у постового, что стоял на бульваре напротив Центрального рынка, кое-какие сомнения, которые он передал по радиации другому, а тот следующему и еще дальше; и вот пошла эта зоркая информация по цепочке от постового к постовому, достигла и стоящего у метро «Бауманская», а он, в свою очередь, передал ее дальше, прибавив, что едущие в машине зачем-то поменялись местами, причем не выходя из машины, так сказать, таясь; а это уже было чем-то серьезным, становилось неким фактом для дальнейшей настойчивости и для того, чтобы наблюдения за вишневым «мерседесом» продолжались.

Покрутив баранку, посылая машину то туда, то сюда по темным и кривым и под гору переулочкам, Петр Брагин ввел наконец машину в темный двор, стесненный старыми и скучными домами некогда московской рабочей окраины, которые еще сохранились от той поры, предреволюционной, хотя ныне эти места уже были почти центром Москвы и вокруг было много новых и светлостенных домов, а недалеке реял над современным дворцом подсвеченный прожекторами, флаг. Этот дворец был районным комитетом партии. Он встал в нескольких шагах от места, где был убит Николай Бауман. Этот дворец был, по сути, памятником Николаю Бауману, хотя был тут и памятник, стоял из бронзы молодой человек с ясным лицом, высоколобый.

Памятник победившей революции, этот дворец-райком, и памятник человеку, одному из первых начинающих бой, но и старые, хмурые дома бывшей рабочей окраины — все тут переплелось, в этой части древней Москвы, как и должно, когда городу столько веков, когда у города такая история, а движение жизни продолжается.

Окна домов, выходящие в узкий двор, были темны. Еще не ночь совсем, только вечер, едва ступивший за программу «Время», а жители этих домов уже улеглись спать. Им завтра рано подниматься, кому на работу, кому в школу. Здесь и сегодня жил трудовой народ, ранние московские птахи. В светлых же домах по соседству еще кое-где светились окна. Там, стало быть, жили поздние московские птахи. Девять миллионов птах московских в разное время вспархивали в своем громадном городе, ничего тут не было удивительного. И разное жили. И открыто, и замкнуто, широко и скудно. А иные и потаенно. Елоховский собор был тут, рядом, стоял на холме. Иные ходили в него и молились, а иные проходили мимо, не взглянув даже, спеша в иные храмы. Громадный город, разные в нем жизни и верования. Никак не подогнать всех под одну мерку. И не следует это делать. Напрасный труд. Ничего не выйдет. Каждый из нас всяк по себе, хотя, конечно, не зря давно подмечено, что «от головы до пяток у москвича особый отпечаток». Вот тут есть общее, отпечаток этот общий. Знак едва уловимый, но все-таки уловимый.

11

В этом дворе немало было припарковано машин, но простонародная то была публика: старые «Запорожцы», «Москвичи», «жигулята». Встав рядом, «мерседес» и во тьме вечерней сразу выделился, сделался чужим тут и заносчивым.

— Ребята еще здесь! — обрадовался Петя, приглядевшись к машинам. — И старшый тут, вон его «жигуль». Пошли.

— Что за старшый? Это кличка, звание?

— Был в Афганистане старшиной, а теперь для нас старшый. Звание, так думаю. Сейчас позна-



комлю. Но только вы спокойно с ним. Не старайтесь.

Брагин замкнул машину, перебрал ключи Знаменскому и уверенно зашагал в темноту, прихватив Знаменского за рукав.

— Ступени тут, — предупредил. — В подвал путь держим.

Спустились по ступеням, и, когда они кончились, забрезжила полоска света из-под двери, обитой листовым железом. В это железо Брагин и постучал негромко, раздельно, явно условным стуком.

Шаркнул засов, дверь стала тяжело открываться, собственной ведомая тяжестью. Грянул в глаза Знаменскому свет. И нечто совершенно невозможное, невероятное, ну никак не ожидаемое открылось перед ним. Паруса, паруса, белые, легкие, и стройные мачты, касающиеся друг друга, и остроносые тела кораблей, парусников, прижавшиеся друг к другу. Только вот моря не было, синего залива, который ожидался, но его не было, да и откуда было ему тут взяться, в этой узкой подвальной комнате, залитой пронзительным светом мерцающих под низким потолком трубок. Впрочем, и море было. На множестве фотографий, развешенных по стенам, запечатлено было море. Но это не настоящее было море, черно-белое. А парусники показались настоящими, почудилось, что они заплывали в эту узкую комнату, как заплывают в залив, встали на причал, спутавшись грот-мачтами, стеньгами, гротами и фалами. Из сказки видение, нет, из Грина Александра. Яхты, клиперы, каравеллы, барки, шхуны — как прекрасен звук этих слов!

Парусники стояли на столах, на верстаках, где лежала оснастка, где лежал инструмент, которым они были созданы, эта комната была мастерской, здесь изготавливались модели. Вот оно что, эта подвальная комната была неким клубом, где мальчишки мастерили модели парусников, мечтали о море, о дальних странствиях. Книжки, лежавшие на верстаках, были наверняка про море, про «Бегущую по волнам». Это была комната мечтателей, подвал мечтателей.

Но самих мечтателей не было, мальчишек тут не было. Поздний час, дети ушли.

Но ушли дети, а взрослые пришли. Человек семь их было. Сидели у дальней стены, курили, заволакивая себя дымком сигарет, казалось, что далеко до них. Сидели, покуривали и помалкивали, никак не отреагировав на пришедших. Да и тот, что отодвинул засов, ни о чем не спросил, прошел на свое место, уселся, затянулся сигаретой, укрылся за дымком.

— Старшой, ребята, я вот друга привел. — Петя Брагин топтался у порога. Показалось Знаменскому, что Петя если и не оробел, то смущен. — Недавно из Ашхабада. Подкололи его там. Да я рассказывал...

Парни молчали, курили.

— Здравствуйте, — сказал Знаменский. — Не поздно ли вам?

— А когда рано бывает? — спросил кто-то из парней, и голос спрашивающего был насмешлив.

— Дело у нас, старшой, — сказал Петя Брагин, так и пребывая у порога.

— Без дела мы не можем, — откликнулся тот же голос. — Продолжай.

— Нам надо побывать в кафе этом ночном, ну в «Черных березах», когда у них для своих вход и на валютку счет, — сказал Брагин. Он вроде робел, не похож стал сам на себя.

— Подколотову надо?

— Да, — кивнул Знаменский, покорно соглашаясь с кличкой «Подколотый». — Ищу одного...

— Там такое место, могут снова подколотить.

— Я думал, ты с нами пойдешь, старшой, — сказал Брагин. — Без тебя мне туда не просунуться.

— А ты красную книжечку им в нос.

— Спугнет книжечка.

— Не спугнет, предупредит — это точно. Значит, думал, мы с тобой пойдём?

— Надеюсь.

— Зачем это нам?

— Старшой, мы гада ищем.

— Так. Объяснил. Ребята, объяснил наш Петя задачу?

Откликнулись два-три голоса лениво и насмешливо:

— Объяснил...

— Гадов надо ловить. Уговорил?

— Уговорил...

«Афганцы», а это были они, уже входящие в легенду парни, которых обожгло яростное солнце Афганистана, которые от войны зачерпнули, и сполна, умылись кровью, — это в наши-то, в мирные времена, — «афганцы» сидели у дальней стены, в дымке сигаретном пребывая, в дымке, может быть, воспоминаний. Они и сидели, как там научились: кто на корточках, спиной приткнувшись к стене, кто на полу, поджав под себя ноги.

— Подойдите, — прозвучал все тот же насмешливый голос. — Сколько можно в дверях торчать?

Брагин и Знаменский послушно подошли, послушно же, следуя приказывающему движению руки, сели на пол, туда, куда им указали сесть, чуть сбоку от всей группы. Рука указывающая была без кисти. И потому ей нельзя было не повиноваться. В ней утешающее было что-то. Обрубок руки не был ничем замаскирован, он лишь затянулся красноватой, задубленной кожей, кость сокрыв. И торчал из рукава, указывая, этот задубленный обрубок.

Присев неловко, Знаменский глянул в лицо старшого, в лицо калеки. И тот глядел на Знаменского. Простецкий вроде бы парень, и молодой совсем, но глаза намного старше лица, зорче, умнее, чем должны были бы быть. Кинула паренка московского жизнь в пекло, смешливого паренка, беспечного, извлекла его в этом пекле, поуродовала, обучила ярости, показала человеческую подлость и вышвырнула из пекла с такими вот умудреннейшими глазами. Всё видели эти глаза, всё понимали.

Но и Знаменскому досталось, тоже поднабрался зоркости. Они приняли друг друга.

— Ладно, скатает в этот шалман, — сказал старшой, поднимаясь с пола. Он оказался высоченным, баскетбольного роста. Очень бедно был одет. Совсем неброская, поношенная куртка, армейские истершиеся брюки, армейские грубые и старые башмаки. Но в распахнутой на груди рубашке ярчайше и дерзко открывался синеполосный вымпел тельняшки. И всё, вся одежда этого парня обретала новый смысл, становилась такой, какой нужно, ему нужно, этому человеку, побывавшему там, где лишился он кисти руки, где обрел разум и простоту, эту не легко дающуюся умную простоту, когда так еще молод человек.

Все парни поднялись. Они были рослыми, сильными, эти демобилизованные десантники, особый род войск, куда брали по меркам, установленным еще молодым Петром. Преображенцы поднялись. И Петя Брагин был под стать своим однополчанам. Такой же рослый и сильный в плечах. И все же их старшой был чем-то выделен из них всех. Искалеченностью своей? Нет, не этим. Повисший рукав не мог его красить. И одет был скромнее других, а вымпелы тельняшек открылись на груди и у других парней, проглянула тельняшка и у Пети, неведомо когда успевшего растегнуть ворот рубашки. К стати, ведь Петр Брагин был ныне старшим лейтенантом, а этот, их старшой, был всего лишь старшиной, когда служил. Выходило, что старшой был старше старшего лейтенанта. Иной табель, иной счет. Иная умудренность глаз. Досталось круче. Вот потому и старшой для всех здесь, рослых и бравых, видавших виды. Вожак.

— Ты на колесах? — спросил старшой у Знаменского, когда вышли из подвала, поднялись по ступеням и ничего сперва невозможно было разглядеть в обступившей темноте.

— На колесах.

— О, да ты пижон! — сказал старшой, углядев в темноте силуэт «мерседеса». — Это правда, что ты в министерской семье обретаешься?

— Правда.

— По любви или по расчету?

Ну кому бы стал на такой вопрос отвечать Знаменский? Да никому. Осадил бы или, в лучшем случае, отмолчался. А этому калеке ответил:

— В другой жизни все было.

Ответил и подумал, что и для себя самого нашел ответ. Но надо бы было еще додумать, а что за новая-то жизнь для него началась, когда она началась? Сам додумывать пока не собрался, не посмел, трудноватое это дело — додумывание.

Старшой дальше спрашивать не стал. Может, потом спросит. Такой обо всем спросить может.

— Покатим на двух машинах, — распорядился старшой. — На этой ласточке пижонской и на моей. Разместимся. Петя, «мерседес» поведешь ты. Тебе пить сегодня нельзя. Тебя как зовут? — спросил он Знаменского.

— Ростислав.

— Со мной садись, Ростик, потолкуем в пути, — сказал старшой. И вдруг выпелось у него: — По ма-а-ашинам!

В миг расселись все в машины, будто на задание, на захват отправлялись. Азарт вспыхнул. Опасность замерцала вдали.

И Знаменский, перекинув ключи Пете, тоже метнулся, как все, имея пяток секунд на то, чтобы очутиться на сиденье рядом со старшим, который вовсе не собирался его ждать, если бы Знаменский замешкался. На захват шла группа. Рванули машины.

А что за захват? Зачем этот гон? Ну, ехали по вечерней, уже поздно-вечерней Москве в некое кафе, семь да два — девять парней, ну, поглядят они там, а нет ли в стенах этого кафе «Черные

березы» какого-то человека, гада какого-то, которого, скорее всего, не найдут, ибо гады так просто в руки не даются, — вот и все дела.

Но машины мчались, нарушая установленную скорость, но азарт полнил парней, подманивало опасностью это ночное заведение.

И, конечно же, постовые, один другому, передавали, что тот самый вишневый «мерседес», который уже «засекли», снова вынырнул и идет на недозволенной скорости, сопровождаемый старым «жигулем», номерочек которого, между прочим, давно на примете.

Шли, мчались машины, а вослед шли, торопливо проговариваемые в рации, короткие рапорты. И в этих рапортах тоже зажил азарт.

— Ты Петю далеко от себя там не отпускай, — сказал старшой Знаменскому. — И я рядом буду. Не нравится мне эта история...

Вот и весь разговор. Знаменский ждал, что он продлится, поглядывая на старшого, но тот прочно замолчал. Он ловко вел одной рукой свой старенький драндулет, который, впрочем, не отставал ни на метр от «мерседеса». А Петя спешил, гнал, охваченный азартом. Или предчувствием? Как знать, как понять, где и когда начинается повелевать нами судьба?

## 12

Знаменский знал Москву, родной был город, но когда такая быстрая езда, а на улицах столь скудно освещение, то невозможно становилось определить, где они едут, куда путь держат. Иной город мелькал перед глазами, незнакомый. Будто бы угадывались здания, но они ли это, уверенности не было. Да и не все ли равно?

Мчались машины, сливались стены домов, Петя знал, куда ехать, и старшой тоже знал дорогу, а Знаменский изготавливался, это было главным чувством, он готовился к чему-то и трудному, и опасному, к чему-то такому, про что часто смотрел в фильмах, но сам участия не принимал. Так было еще недавно. Теперь он и сам вступил в этот детективный фильм, может даже мету на себе, заведя руку за спину, ощупать, прислушавшись, может боль в боку услышать, к которой привык, слабой она стала, эта боль, но всегда была с ним. Как кидает жизнь человека, как распоряжается с ним вольготно, едва только человек заступает черту, выходит из очерченного ему, установленного ему жизненного круга, даже не круга, а всего-то кружка. Он бездумно жил, вышел за черту, уверовав во вседозволенность для себя, и вот закрутило его и замолотило. И иная жизнь началась. Он верно ответил этому покаянному на войне парню, когда сказал, что в другой жизни все было. В другой, совсем в другой, это так. В теперешней все по-новому пошло, незнакомо, непредсказуемо, странно как-то. Вот едет с парнями, с «афганцами» этими, в некое ночное кафе, чтобы... а что — чтобы?..

— Что за кафе это? — спросил Знаменский.

— Подвальчик. Днем пиво, вечером танцы. Так и тянулось какое-то время. А потом, смотрим, стали химичить в этом домике. Ночная жизнь там завелась. Дверь на замке, а кого-то впускают. Своих, проверенных. И еще кто с валюткой. Такие дела. Вы-то с Петей при деньгах?

— Да.

— Сможете углубиться. За вход — трояк, за проход далее — десятка. И так далее. Петю от себя не отпускай, если начнете углубляться. Это моя просьба. Серьезного человека ищите?

— При серьезном деле человек.

— Секрет? Наркотики, что ли?

— Что ли.

— Тогда по адресу катим. Вот народ! Ну, нарушают, ночные часы стали прихватывать, ну, ладно. Входные, чаевые — ну, пусть. Нет, им мало. Валютки им захотелось. А валютка свои законы диктует. Каждый товар диктует и свои порядки. В одном зальчике задешево посиди, в другой, где фильмишки крутят, за десятку вход. И так далее.

— А так далее-то что?

— Тебе объяснять? Где наркотики, там все так далее.

Приехали. «Мерседес» лихо развернулся, встал в ряд машин, где и еще были всякие там «вольвы» и «тоёты». Вот что за местечко. А что за местечко? Пока парковался старшой, Знаменский присматривался, пытаясь понять, куда приехали. Он вышел из машины, стал оглядываться. Древние белые стены близко встали перед глазами. Золотые кресты хмуровато плыли на темных облаках. Собор возник перед глазами. Подновленные стены, возвращенные кресты, и все то же хмуроватое осеннее московское небо, как и века назад, когда этот собор возводили.

Так что же, молиться они приехали? Смешная мысль, нелепая. Но именно сюда, к собору, и прикатили все эти машины. Тут сразу было и



высоко и низко. Место высокое, оглянись — вон она, Москва, в вечернем мареве. Но сразу и овражки от собора начинались, сбегали от стен старые березы, и впрямь черные стволами от старости. И в ногах у собора разжатой подковой легло приземистое строение, из таких же могучих стен, что и собор, с узкими, монастырского прищуря окнами. Это строение долго тянулось, начавшись в два этажа, завершаясь одним. Приникало к земле строение, к ниспадающему тут рельефу. Это был дом для причта, для соборной obsługi. Теперь в этом доме-подкове и было кафе «Черные березы». Фонарики легкие повисли у тяжелой, монастырской оковки, двери, но дверь была не старой, а под старину.

Вошли. Все тут было под старину. Монастырская гостиница? Корчма? Не из фильма ли «Борис Годунов», где Гришка Отрепьев врал свою судьбу? Узнать бы, не тот ли и художник, что работал на фильме, делал эскизы для этого кафе? С душой все сделано было, находчиво. В фильме декорации выпирали, в шалмане этом были вполне естественны. Узнать бы, кто был здесь художником, не из знакомых ли кто? Не из тех ли, что так взыскательны в вопросах искусства, правды, чести и этой самой нравственности? А что, деньги не пахнут. Так ли, не пахнут? Декорации эти пахли. Вкуснейше пахли жареной курятиной, шашлычком по-карски, свежим красным вином. Но и еще чем-то, еще чем-то. Вкрался и какой-то враждебный, противный запах в этот аромат. Узнать бы все же, кто тут наводил красоту? Эта мысль, что кто-то из знакомых художников тут себя осуществлял, из приятелей матери и жены, позабавила, просто развеселила Знаменского. А что, деньги не пахнут, хоть бы даже и подвигивали этим все же противным запахом, сразу внедряющимся в подобные заведения.

Их встретили, когда гурьбой ввалились, очень радушно, даже радостно. Правда, на лице у встречавшего не сразу утвердилось радостное, сперва он скорее перепугался, побледнел, но быстро согнал испуг с лица и вогнал на него радушие. Это был еще молодой человек, он еще не набрал должного веса, должного объема. Но — дело наживное. И округлится и осановнится. Такое место, такое дело. Способный малый. Откуда что взялось? Кланяется, как прошедший выучку метрдотель, улыбается выученно одинаково для всех и вообще гибко, обходителен, счастлив гостям, похоже, что друг с каждым. Это и есть выучка для встречающего в дверях, когда в подобном заведении утверждается «ночная» жизнь для «своих», да еще и за валютку. И все же, хоть «афганцев» и встретили чуть ли не с распростертыми объятиями, скрыть, что их появление испугало, не удавалось. Все, кто был в небольшом, длинном, с низким потолком зале, и кто обслуживал, и кто сидел за столиками, вытянувшись в два ряда, все тут сразу напряглись, притихли, потупились.

Понять этих людей было можно. Знаменский и сам бы, заведя такую ораву в тельняшках, потерял бы в подобном месте спокойствие. А место было очень схоже с ночными рестораниками Александрии, Каира. И если вдруг в такой ресторанчик вваливается матросня, своя, а еще хуже американская, то ничего хорошего не жди. Эти, в тельняшках, не подходили под категорию матросни. У них вообще не было категории, это совсем недавнее было образование. Это были люди из легенды, люди, которых следовало уважать, но можно было и бояться.

Забавляло, что он, Знаменский, был с ними, забавляло, но и в какую-то гордость вводило, хоть и понимал нелепость своего положения, что вон те, и те, и те милые дамы, девицы, девушки считают его тоже «афганцем», выделили несколько, зорко глянув, но все же среди них оставили, среди овечьих хмурой славой войны. Да, он был с ними, и разве он сам-то не был на войне и не на войне ли он и сейчас? У него даже кличка появилась: «Подколотый»... А он и был им, подколотым, шрам в боку все время вплетал в душу тоненькую боль.

Уселись. Расселись.

Четверо изможденных парней, один за пианино, ударник, весь в барабанах, и двое с какими-то плоскостями в руках, которые электрически гудели под гитару, дружно выкрикивали что-то в узкий зал, расположившись у двери, которая вела еще куда-то, и куда можно было проникнуть, но не просто было проникнуть, поскольку дверь эту охраняли два здоровенных парня, ряженых то ли под стрельцов, то ли под гусаров.

А четверка, всклоченная, выкрикивала в зал какие-то свои сугубо личные обиды. Ну, ссорилась она с кем-то. Может, с домашними, с папой-мамой, с женой, которая разозлила. Склоличили от души, до хриплого взыва. Странно, что

под эту хоровую склоку здесь танцевали. И не что-нибудь, а, разумеется, брейк. Совсем молодым это удавалось, и у них получалось даже красиво, спортивно, — ведь по канонам этого нового танца надлежало акробатические номера выделять. Метались тела молодых, извивались, взлетали. Ничего, смотреть было даже интересно. Но молодых среди танцующих было совсем немного — две, три, ну, четыре женщины. И вот еще паренек выкаблучивал, явно приобщенный к профессиональному спорту. Остальные же грузновато топтались. Это были близкие к старости мужчины, обладатели солидных форм. Им никак не давалось брейк, они вытворяли нечто невообразимое и с почти трагическими лицами, идя, так сказать, на смерть. Но чего не сделаешь ради таких милешек, которые их закруживали, задергивали, именно что вовлекая в смертельное приключение. Знаменскому даже показалось, что молодые женщины нарочно так задергивают своих грузных партнеров, что они вроде бы вымещают на них свою досаду, что приходится выплываться с этими мешками. Но мешки-то были явно при деньгах. Вот именно, при деньгах, которых у молодых, у статных и гибких, часто и вовсе нет, трояка даже нет, чтобы заплатить за вход.

Вот сидят молодые-то, таращат глаза, гордятся своими тельняшками, а пустили-то их сюда задарма, из сострадания, а может, из боязни, что станут тарарам поднимать в тихом этом местечке. Уже бывало. Ну, пусть сидят, таращатся. Какая от них польза? Любовь? О, эти девочки уже вкусили от нее, от любви, когда ни кола ни двора, когда от полочки до полочки просвет в атмосфере, когда на паршивенькое пальцецо надо год копить. Нет, без нас, без нас! И от другой любви уже порядочный отъели кус. С горчинкой пирог. И не любовь это вовсе, вот это вот, чем сейчас занимались. Но зато «нон проблем», дубленочки в шкафах, нарядов — завались, сами увешаны, как и актрисам не снилось, кооперативные квартирки кое у кого уже есть. Такой баланс. «Трясись, старикан, спеши к инфаркту, цепляйся за сладкое!» Но и плати, плати!

Вот что прочитывалось, когда со стороны поглядеть, а так и глядел сейчас Знаменский, про эти танцы-манцы в узком помещении, где некогда обитали духовные лица, присоборный причт. Не думали не гадали эти стены, что в такую попадут историю, что доведется им послужить явно бесовскому соблазну.

А склочники, накаляясь, все нагнетали склоку, не музыкой, а иступлением захватывая присутствующих, давили, как говорится, на нерв. И все нервней тут становилось, все иступленней, все бесшабашней, если угодно. Но тут не пили. Редко у кого на столике стоял бокал с красным вином, редко кто потягивал из нарядной банки с эмблемой финского, из бывших русских купцов, пивного короля. Тут почти не пили. Тут покуривали. Женщины покуривали, молодые эти умницы. Жадненько как-то прихватывали от сигаретки, которую прятали в кулачке, как в школе прятали, начиная только покуривать, а ведь в школе нельзя, там строго, там отметку за поведение могут снизить. Здесь отметок никто не выставлял, но все же страшилось, прятали зачем-то сигареты в кулачки, самый дым от сигарет прятали, будто проглатывали. А мужчины не курили, они пьели естественным путем, от этих тел молодых, от запаха молодого пота, которым пронизывался зал, они пьели от мыслей о предстоящем. Предстоящее же было там, за дверью, укрытой тяжелой портьерой, заслоненной двумя широкоплечими униформистами.

«Афганцы» присмирели тут. Их молодые ноздри поширились, слух наострил. Молодые же были, не бесчувственные. Вот они пили, им принесли по банке финского пивка, они его и цедили, экономя, понимая, что платить тут придется втридорога. Но за погляд с них денег брать не станут. И они глядели, слушали, вдыхали.

Старшой смирял спокойствием своих парней. Он знал их, этих притихших сейчас, он видал их в разных переделках, в местах посолонее, чем этот шалман. Но когда это было, где это было? То все позади. Все, все позади. Забыть бы все!

Сам старшой был невозмутим, полагал, что невозмутим, но ведь и он был молод. За глазами своими он приглядывал, они у него не вспыхивали, за рукой на столе приглядывал, она у него покойно лежала, искалеченную руку он сунул в карман. Невозмутим был, чуть только насмешливый ужим губ себе дозволил. Но про ноздри забыл. Кто из нас думает про ноздри, унимая себя? Но здесь такой был воздух, что он бил по ноздрям, распалал молодую кровь.

Петя Брагин вел себя как-то странно, уж очень неспокоен был, хотя меньше других всматривался в танцующих. Его глаза были прикованы к заветной двери. Туда, туда его влекло, за тяжкую

сиреневую портьеру. И когда иные из парочек, будто случайно оказавшиеся, танцуют, у двери, ныряли за спины стражей, за портьеру, за дверь, он жадно взглядывал, пытаясь что-то угледеть, хоть взглядом пытаясь проникнуть туда, за дверь.

Но иные парочки и появлялись из-за той двери. Какие-то они были не такие, как те, что оставались здесь. Вернувшись, эти парочки снова пускались танцевать. Но только для вида. А если и танцевали, то не брейк, а свое. Мужчины, еще более огруженные, хозяйски повиснув на женщинах, собственничество свое и подтверждали, победное что-то вышаркивая. Женщины томились этим последним танцем перед «прости-прощай», но надо было дотанцевать, так полагалось, входило, видимо, в некий прейскурант или обряд.

Потом, коротко оттанцевав свое, появившаяся из недр парочка плюхалась за столик, мужчина жадно припадал к бокалу, женщина жадно закуривала, привычно пряча сигарету в кулачок. Но что тут прятать? Все прочитывалось.

Так-то оно так, прочитывалось. Но Знаменский поймал себя на мысли, что читал он тут происходящее как бы по двум текстам, ну, скажем, когдa слева — по-английски, а справа — по-русски. И невольно сличал он тексты, верен ли перевод. Но тексты-то были его собственные. Он сличал не слова, не фразы, а свое отношение к словам и фразам. Он сличал себя сегодняшнего с собой вчерашним. И тексты не совпадали. По смыслу, по сути. Еще недавно он бы в этом кафе лишь углядел, что вот и у нас началось все то, что было там, где все или почти все было дозволено, — если говорить об этом, вот что тут прочитывалось. Так угодно жить этим мужчинам и женщинам, ну, пусть так и живут, пускай так себя расходуют, что-то теряя или уже потеряв, но что-то и получая взамен. Хотя бы забвение. Хотя бы решение, пусть на короткий срок, своих проблем. Разве это так уж мало? И кто он, чтобы кого-то тут осуждать? Он и сам пребывает в поисках забвения, не чужд и развлеченью, нет, он не судья. Это был один текст, который он сам себе и продиктовал. Однако рядом был другой текст, тоже его, но недавний. И этот текст не совпадал с первым, хотя об одном и том же шла речь. Не совпадал по смыслу, по сути. Иначе все истолковывалось, на что он глядел сейчас, иначе прочитывалось. Между тем и этим текстом пролегло время. Всего несколько месяцев. Но громадным было это пространство. В него улеглись и позор, пережитый в Каире, и позор, пережитый в Москве, падение, падение, когда летишь ко дну пропасти и уже рад бы был расширяться о камни, достигнув дна, но дна все нет. В него вошел, в это пространство, зной Туркмении, погубительный зной, когда нечем было дышать, и казалось, и незачем дышать. И тогда рядом встал Ашир Атаев. И посмотрел на все своими глазами, даря ему, Знаменскому, свой взгляд, другое прочтение всему. Ашир бы тут все не принял. Все! Но он был не ханжой и не моралистом. Живой был человек. И истрадавший человек. Вот, найдено слово: человек. Он был человеком. У него сердце еще умело болеть. Он еще не обрел ту самую пустоту, которая приходит к нам, когда слишком уж долго пребываем мы в двойной, а то и в тройной жизни. Двоя и троя, мы опустошаемся, мы впадаем в цинизм, нам кажется, что все можно, раз хочется, нам ведомо, что бога-то нет, что спроса с нас не будет, если сумеем не подставиться, не попасться. Но мы подставляем, попадаемся сами в себе, опустошаем сами себя, истрачиваем свое человеческое, избиваем.

Ашир Атаев взял его тогда за руку и повел. В трудное, в опасное. Он вводил его назад, в облик человеческий. Его убили, Ашира Атаева. Наверное, его и должны были убить, ибо он был опасен для нечисти этой, нечисти. Для этих вот, что поторговывают тут наркотиками, помогая дурехам вон тем перечеркнуть в себе человека. Тут убийцы орудовали. Те самые, на которых пошел Ашир Атаев. Ничего тут не было, кроме ужаса и мерзости, растления и убийства. Вот так сейчас увиделось все Знаменскому, прочиталось им. Ашир Атаев сидел рядом, они смотрели вместе.

— Когда же в недра пройдем? — спросил Петя Брагин, нервно облизнув сухие губы. — Гад наш, если здесь, так только там.

— Не спеши, — сказал старшой. — Пускай к нам попривыкнут. Напугал ты их в прошлый раз. Ты смотри, Петя, чуть что — в драку не лезь. Ребята накалились. Смотри, Петя.

— Кому говоришь? Я на службе. Хоть и в курточке...

— Тогда порядок. Ворот застегни, «курточка». Но Петя свою тельняшку прятать не стал, ему так было легче тут дышать, с расстегнутым воротом.

*Продолжение следует.*



## О БЛАГОРОД

К Анатолию Васильевичу Эфросу я всегда относился с благоговением и любовью. Если говорить о том, как был предан этот человек искусству, театру, творчеству, трудно поставить с ним кого-то рядом. Он не умел жить без работы, без мысли, без идеи — это встречается сейчас так редко! По силе духовного начала, по чистоте напряженной жизни в искусстве я лично могу поставить рядом с А. В. Эфросом лишь двух-трех художников, которые были для меня эталоном.

В 60—70-е годы Эфрос занимал совершенно особую, яркую, индивидуальную позицию в нашем театре. Его режиссерский почерк отличался от всех направлений и стилей, которые мы видели в то время на сцене. Мы все находились под обаянием мощной силы его таланта. Он завоевывал наши сердца, наши души.

Художник, как и всякий человек, живет по законам цикличности. Последние годы, как мне кажется, Эфрос будто накапливал новые силы, искал какое-то новое продолжение, новое качество. Это очень субъективно, конечно, но я ждал, что вот-вот родится в нем новый творческий импульс — и он опять удивит и покори нас. И ведь удивил и покори, и не только нас, но и Париж, и Милан спектаклями высочайшей культуры и смелости режиссерских решений.

И все-таки (мы все это знаем) слишком многое мешало этому художнику, тормозило его стремительное творческое движение. Что именно? Это сложный вопрос, он касается обстоятельств времени и человеческих сил, которые этим обстоятельствам противостояли. Слишком многому Эфрос противостоял. А силам есть предел.

Отношение к его творчеству со стороны чиновничьего аппарата, я думаю, часто было несправедливым. Он вынужден был кочевать из театра в театр и так и не построил своего театрального дома, под крышей которого ему было бы спокойно и уютно. В той мере спокойно, в какой возможно спокойствие в мире творчества, испепеляющем человека. Такова была его нелегкая судьба. Нелегкая и в то же время прекрасная.

Театр не может стоять на месте или реставрировать свое прошлое, давно ушедшее. Анатолий Эфрос сохранил честь театра на Таганке в самое тяжелое для этого коллектива время — это следует помнить. Он не дал умереть, зачать многим талантливым людям — понять это необходимо не только даже ради памяти о режиссере, но ради самих себя, живущих. Иначе в себе можно затоптать самое драгоценное — и нравственное начало, и творческое.

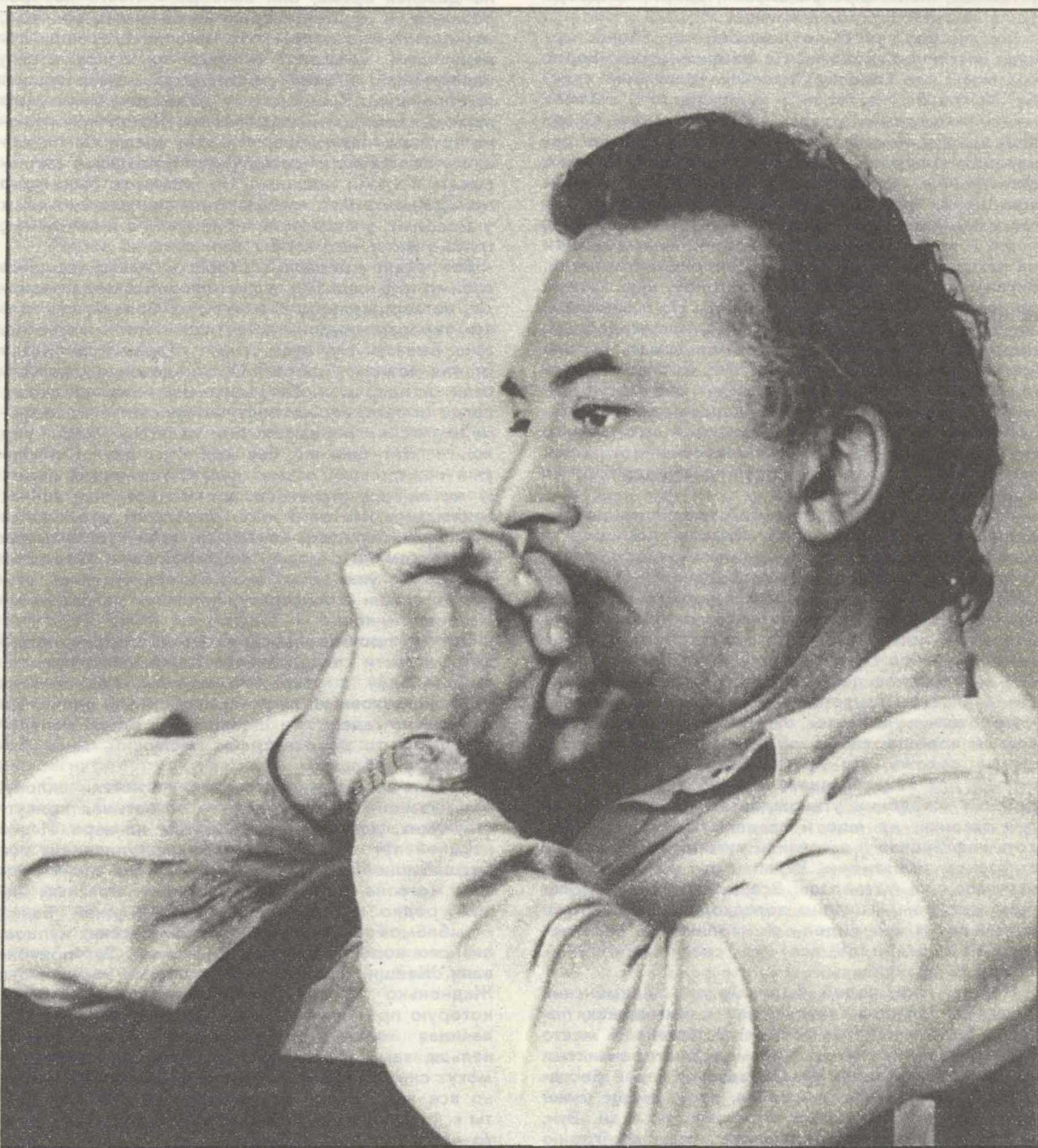
Эфрос олицетворял все лучшее, что есть в нашей театральной культуре, он до конца стоял на своих, индивидуальных позициях в творчестве, всегда искренне радовался любому проявлению хорошего начала в людях. С такими художниками нужно быть очень бережными...

Все это я говорю с позиций человека, хорошо знакомого с творчеством Анатолия Васильевича, трижды имевшего счастье с ним работать, знавшего его не только в кино и театре, но и в жизни.

Я скорблю, что не удалось поработать с ним в «Живом труппе» и «Тартюфе» — спектаклях, которые он поставил на сцене МХАТа.

...Вдруг подумал о том, что все это может показаться общими словами. Но эти слова родила очень конкретная основа — те короткие мгновения и долгие часы общения с ним, которые будут со мной всю жизнь.

Инокентий СМОКТУНОВСКИЙ



**Ч**то такое прекрасное — очень трудно определить. Нужно вырабатывать в себе чувство прекрасного, и нужно иметь сравнительный ценз — нужно что-то с чем-то сравнивать.

Иногда чувство прекрасного изменяет даже очень крупным мастерам. Только великим оно не изменяет, у них даже всякое «чересчур» — прекрасно. Вот Феллини — у него все «чересчур», он, как Гойя, и у него все прекрасно. А у другого, тоже великого, может быть наоборот: все только «чуть-чуть», только дыхание, на «еле-еле», все зыбко — и тоже прекрасно.

Определить словами это трудно, но я уверен, что большинство людей всегда интуитивно отличают, что прекрасное есть именно прекрасное. Особенно если они мало-мальски образованны, если у них не узкий кругозор.

...Вы спрашиваете, как я репетирую. Я очень много готовлюсь к репетициям, много пишу, все вечера, все выходные дни пишу всякие шпаргалки... Но когда прихожу к актерам, то абсолютно не придерживаюсь того, что придумал. Должна идти живая жизнь и во мне, и в актерах. Как

только мы начинаем твердить что-то одно, мы тут же впадаем в ошибку, костенеет, делаем с собой что-то неправильное. Нужно все время видоизмененно чувствовать, видоизмененно жить и видоизмененно нащупывать в себе и вокруг себя прекрасное, которое бывает очень разным.

Я вообще больше уважаю в искусстве людей, которые непрерывно меняются, могут делать совершенно противоположные вещи. Допустим, Пикассо. Он умел все, делал все, знал все, прошел всяческие «периоды» и ни на одном не остановился. Или Жан Луи Барро. Ему уже бог знает сколько лет, а он работает, делает абсолютно живые вещи и не следует никакой моде, никаким правилам.

То, что я вам рассказываю, — это мое сегодня и завтра. Вчера я так не думал и завтра совсем не обязательно буду думать так же. Это сбивает с толку критиков — они любят формулы, неподвижность, но ведь вы же не критики, вы сами художники! Я, между прочим, очень точный человек, хотя и говорю вроде бы разбросанно. Я достаточно упорно быю в одну точку, и вы со временем это поймете. Так что не пугайтесь моей «разбросанности», а то потом испугаетесь точности...

То, что самое важное в нашем искусстве — творческая импровизация, твердили все великие, начиная от Станиславского. На примере хорошего джоза это замечательно видно. Вы слышали когда-нибудь Дейва Брубека? Его можно слушать

В 1981—1982 годах Анатолий Васильевич Эфрос руководил творческой лабораторией режиссеров при Всероссийском театральном обществе. Мы публикуем фрагменты его бесед с молодыми режиссерами.



# СТВЕ

бесконечно — это свобода, полет фантазии, безупречный вкус, это предчувствие конечной гармонии... Так, говорят, играл когда-то на сцене наш Михаил Чехов. Партнеры останавливались и давали ему лишний «квадрат» для импровизации. А Станиславский говорил, что «система — это Миша Чехов». Наши актеры, к сожалению, имеют обо всем этом достаточно туманное представление. О системе Станиславского они мало знают, им кажется, что это какие-то скучные правила.

Между прочим, свою книгу «Моя жизнь в искусстве» Станиславский написал для заграничного издания, в Советском Союзе эта книга вышла потом. И вот, у него есть заметки — что нужно сделать для русского издания. Там сказано: «Отречься от всех своих учеников, которые сделали математику из системы». Это к вопросу о подвижности, о разнообразии. Ведь будучи учеником, скажем, Завадского, можно учиться у Феллини. А учась у Феллини, можно быть учеником Станиславского. В театре до всего нужно доходить самому, своим собственным сердцем.

...Вы спрашиваете: что такое замысел? Образное видение? Исходная точка? Все что угодно, лишь бы от этого лихорадило, как от открытия, лишь бы это возбуждало живые чувства. Я хорошо помню отправную точку «Женитьбы». Я оттолкнулся просто от первой фразы. Она примерно такая: «Живешь, живешь, а как начнешь на досуге раздумывать — и такая вдруг скверность...» Я как-то вдруг неожиданно задумался: действительно, живешь, живешь, и такая вдруг скверность... Мы ведь эту пьесу всерьез не воспринимали, а тут что-то очень серьезное. Почему Подколесин лежит на диване? Ведь он вдруг понял, что нужно что-то делать, надо что-то поменять в своей жизни! Поэтому у меня и дивана никакого на сцене нет. И вообще Подколесин вовсе не лежебока. Совсем наоборот! Он очень деятельный человек, он что-то осознал, хочет возместить упущенное, успеть что-то сделать. А кончает тем, что выпрыгивает из окна... Вот вам и Гоголь.

Я когда-то написал пьесу про обмен. Там одна женщина думала: вот обменяю квартиру, и все будет в порядке. Квартиру она обменяла, но ничего не изменилось. Иллюзия. Иллюзия — вот философия «Женитьбы». Что-то другое человеку нужно, чтобы он был счастлив.

Какая была исходная точка «Месяца в деревне»? К Наталье Петровне приехал молодой учитель, и он легко общается с Верочкой. И по тому, как живо ведут себя эти молодые люди, Наталья Петровна понимает, что ее собственная жизнь прошла. Это тема серьезная. Любовь к молодому учителю началась от ощущения краха, от боязни конца. Весь внутренний запал этой женщины — от ощущения, что самое главное происходит не там, где она, а «где-то». Некоторые люди бурно и полно проживают свою жизнь, а некоторым эта жизнь кажется непрожитой, а уже виден конец. Они бросаются обратно, но поздно. А потом наступает постепенное одиночество, и в этом подспудно уже начало другой пьесы — «Вишневого сада». Вообще мы все время куда-то спешим, гоним — скорей бы вечер, скорей бы завтра, скорей бы кончилась репетиция! И так каждый день. Куда мы спешим?! Нет наслаждения этой секундой! Мы хотим чего-то, чего нет... А дальше — «Вишневый сад», вишневый сад. И это уже конец. Деревья проданы, и надо уезжать.

Я сейчас опять занимаюсь «Тремя сестрами» и взял, уже в который раз, «Мую жизнь в искусстве». Раскрыл главу о «Трех сестрах» — дай, думаю, я еще раз ее посмотрю. Боже мой, что он пишет! Это книжка настолько простодушная, настолько немудреная, что оторопь берет. Ждешь — вот он сейчас тебе все откроет, разберет. Что же он там пишет? Как влюбился Чехов в Книппер, как они все поняли это («Э-э! — сказали мы с Петром Ивановичем...»), как потом Чехов присылал по актам пьесу, и так далее. Ну, где же! Давай, давай, рассказывай мне что-нибудь о «Трех сестрах»! А он — ничего. Но тон — чеховский, натура — чеховская. Вот тон-то и читайте! Потом еще несколько строчек: как на

репетициях ничего не получалось, чего-то не хватало, а уже надо премьеру выпускать... И вдруг в темноте кто-то поскреб пальцами о скамью — вроде звука скребущей мыши. И у Станиславского вдруг заработала фантазия, и он понял: конечно, все эти люди совсем не носятся со своей тоской, а живут, хотя и радоваться, хотя и бодрости, уюта хотят. Вот и все толкование «Трех сестер». А потом в другом месте Станиславский пишет, что Чехов был веселый человек. Хотя знал про свою смерть, а был веселый человек. И тут уже я подумал: ага, ясно, это сопротивление смерти. Сопротивление беде — это «Три сестры». Так было, видимо, во МХТ. Во всяком случае, в первой постановке. В 40-м году были уже другие задачи и другой замысел. Отчего у Станиславского это возникло? Ну конечно же, не от мыши. А от того, что он был — Станиславский, от того, что он знал Чехова, знал жизнь, знал, почему фунт лиха, был творцом.

Главное, чтобы в замысле было живое и не было «умственной философии». Питер Брук, например, просто говорит, что есть живой театр, а есть мертвый. И все! Если мы себе честно признаемся, то скажем, что 90% наших спектаклей мертвые. И 90% наших репетиций, конечно же, мертвые. Так мы научились работать. Умертвляем живое. Не ценим это ни в себе, ни в других.

...То, что я сейчас буду анализировать, это лишь для продумывания, для возбуждения ваших мыслей, а не как закон. Я попросил приготовить для занятий 15 экземпляров пьесы «Три сестры». По-моему, решили, что я шучу. А я не шучу.

Начинается со слов Ольги: «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая...» Это — партитура. У плохих писателей она примитивная, а у хороших — очень сложная. Чтобы по-настоящему понять эту партитуру, нужно собаку съест, нужно в течение многих лет думать. Мы, к сожалению, ставим спектакль быстро, но думать-то нам никто не запрещает! И чтобы знать что-то, надо думать всю жизнь. Я вот хочу с какой-нибудь критикессой, которая ругала в 67-м году наши «Три сестры», устроить дискуссию. Критикесса эта, я вас уверяю, не будет ничего знать в этой пьесе, а я там пальцами все прощупал. Она будет знать общие слова, которые вычитала из книжек. А я всеми своими внутренностями прошел по всем репликам.

Так что же это такое: «Отец умер ровно год назад...»? Ольга почему-то говорит это двум своим сестрам, которые и так это знают. Да еще написано, что она в это время проверяет тетради. Почему? Зачем она это говорит? А дальше: «Было очень холодно...» Чехов что-то тут зашифровал через поэзию. А нам надо расшифровать. А потом еще и создать свою поэзию на сцене.

Вот мы живем здесь, знаем английский и французский языки, говорят сестры, а зачем? Это — чеховское. Это часть его мировоззрения. Он жил в Ялте, на отшибе, больной. И все эти вопросы перед ним вставали. Зачем живем? Зачем страдаем? Зачем снег идет? Может быть, через тысячу лет или через двести что-нибудь будет, а вот сейчас — зачем? Для будущего? Одни говорят, что живем только для будущего, другие — только для настоящего. И все равно — бесконечные «зачем»... Зачем отец должен умереть именно в день именин дочери? И вот Ольга сидела, думала, перебирала тетрадки... И родилась мысль: что за странная, что за нелепая жизнь! Эти первые фразы часто просто пробегают, а ведь они для чего-то нужны. Если разобраться, они нужны для конечного поэтического смысла. «Было очень холодно, тогда шел снег...» Почему отец должен умереть, когда холодно и идет снег? Это, наверное, были кошмарные похороны. «Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая». Что за жизнь, что за кошмар?.. Не отвязность этих мыслей — вот начало партитуры.

А можно совсем по-другому. Меня лично сейчас больше устраивает другой вариант. Это — жестокость. И тогда будет так: отец умер год назад, но жизнь идет. То есть жизнь берет свое. Можно ведь и так, правда?

«Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег».

Можно это сказать так: он был генерал, а за гробом никто не шел. А можно: он был генерал, а никто не шел, впрочем, потому что был дождь. Видите, как от первых фраз зависит все толкование.

«Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распустились». Здесь может быть главное: березы еще не распустились — как ужасно! А можно: сегодня тепло, окна настежь, и березы еще не распустились... Это — природа, в ней все идет своим чередом, и нераспустившиеся березы могут быть прекрасны!

Дальше — очень важное. Ирина говорит, что хочет трудиться. «Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить». Вот очень интересная проблема. В прежнем своем спектакле я никак не мог с ней справиться. Мне тогда все это казалось ро-

мантикой, которая сегодня смешна, — избалованные люди мечтают о том, что нужно работать! И я как-то выкручивался. И Любимов в своем спектакле тоже выкручивается. Он решил, что, как говорится, закрыл тему. У него откровенная ирония: мол, через двести лет все будут работать! Ждите, как же... Это по-любимовски. А я так не могу. Потому что я сам работаю с утра до вечера. Что же я буду над этим смеяться? Для меня выходной день — это мука. Потому что в выходной день пьют. И я думаю: боже мой, неужели настанет такое время, когда работать будем один день в неделю, а шесть дней отдыхать? Ведь кажется, люди только тогда люди, когда любят свою работу. Я лично придерживаюсь такой точки зрения. Может, я не прав?

Но теперь главное: как сделать так, чтобы публика не иронизировала и чтобы внутренне не оставалась равнодушной к этой реплике о труде. Раньше я этого не знал, сейчас понял. Понял простую вещь. От чего все мы сегодня страдаем? От того же, от чего страдал и Чехов. Люди не умеют и не хотят работать. От этого мы и страдаем. Если бы люди хотели и умели работать, то жизнь была бы совсем другая. «К трудолюбию прибавить образование» — есть в «Трех сестрах» такие слова. Это колоссальная идея. Как при Чехове, так и сегодня люди толком не работают, а морочат друг другу голову, обманывают, занимаются болтовней. Разучились точно делать свое дело. Или никогда не умели. Если актриса, которая играет Ирину, поймет и почувствует то, что понял я, тогда зритель поймет, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду то же самое, что и Чехов. Что только труд облагораживает человечество. Не такой труд, каким мы его часто видим, а настоящий. Мечта Чехова — ведь это и наша мечта. Только один Чебутыкин твердит: «Я не буду работать». Ну что ж, пускай один человек не работает. Чебутыкин, он хорош чем-то другим. А остальные будут работать, и тогда жизнь изменится.

Тузенбах говорит, что родился в семье, где лакей с него стаскивал сапоги, но — «Готовится здоровая, сильная буря, которая... скоро сдует с нашего общества лень...». Ну, как сегодняшняя публика будет это слушать? Она же знает, что это была за буря. И как уже после этой бури люди трудятся. Конечно, тут легче всего поиронизировать, поиздеваться. На Таганке в этот момент пускают на минуточку пленку с голосом Качалова. Сначала я подумал: это для того, чтобы показать, что Качалов — это хорошо, а артисты рядом — плохо. Может, именно это мне и хотели сказать, но для Чехова этого мало. Ведь там звучат такие слова: «Готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Качалов произносит все это красиво, но в ткани спектакля это кажется смешным. И я задумался о буре, которая снесет лень и гнилую скуку... Неужели мы этого неждемся? Неужели никогда не сможем избавиться от этого пренебрежения к труду? Тогда все не поправимо и безнадежно. Нет, сопоставление благородной качаловской декламации с иронией современного актера — это фокус, который ничего в Чехове не раскрывает. Какая-то мертвая ирония. Если качаловское благородство выглядит старомодно, может, надо поискать какое-то новое благородство, сегодняшнее? А то мы так и Чехову откажем в благородстве. Действительно, какой-то чудак в пенсне! Мечтал, видите ли, о лучшей жизни...

У меня масса болевых ощущений по поводу всего этого. Одно из них, может быть, основное: надо попробовать после всех наших «модерновых» поисков поставить Чехова безо всяких режиссерских вспомогательных хитростей. Это не значит, что надо выкинуть болевую мысль. Напротив. Меня, например, сейчас волнует мысль о замкнутом круге жизни, о том, что жизнь так страшна и сложна психологически, что человеку часто некуда девать свои силы. И в то он не может вложить себя, и в это не верит, и там у него не получилось... Так и умирает, не сделав ничего. Недавно у меня умер друг. Ему было 60 лет. Мы с ним вместе учились когда-то в студии Завадского. Я пробежал мысленно его жизнь и подумал: какой-то нерасцветший цветок! Он был поэт, он был, казалось, хороший артист. Что случилось? Он был пьяница, он так за свою жизнь и не получил квартиру, не имел дома, где-то снимал углы. Вот вам вопрос: почему?

Я хотел ставить сначала совсем по-другому, но увидел любимовские «Три сестры» и подумал: нет, все. Хватит. Мы дошли до точки. Надо сделать что-то кардинально другое. Я ведь и сам шел в том же направлении, считал, что нужно «модернизировать». И вдруг увидел предельность такой точки зрения. И подумал: почему



этот Чехов со сцены меня не волнует? Ведь когда я его читаю, у меня всегда дрожит сердце. Я понял: нужно вернуть Чехова к Чехову. Мы сами все это насаждали — Чехова ставили «по Брехту» и т. д. Двадцать лет назад, наверное, это было правильно, ново. Это снимало какие-то шоры. Но теперь я уже не могу, когда «по-брехтовски» дают Шекспира. Мне тогда и Брехт противен, и сам Шекспир. Что-то другое нужно, нужно какую-то песню сменить. Я не утверждаю, что это нужно делать всем — это нужно делать мне. А, допустим, Ефремову я бы посоветовал совсем другое, потому что в ближайшие пять лет он не достигнет серьезных результатов, если куда-то сильно не повернет, не обновит себя. Любимов иногда умел поворачивать — делал «Деревянные кони» и «Обмен», шел в глубину, и его социальные вещи становились неотразимыми. А «Три сестры» — это возвращение к приемам, которые уже израсходованы. Это — пустота.

В 67-м году я решил: нужно ставить Чехова с первой же строчки трагически. Я взял страшный марш, и мои персонажи с самого начала под этот марш танцевали. Это было очень сильно. Люди через много лет вспоминают этот спектакль. Я тогда думал так: Чехов ехал на Сахалин и, наверное, где-то по пути, в Пермской губернии, где за двадцать километров нет железной дороги, увидел интеллигентную московскую семью — и написал пьесу. Отсюда у меня и родилось: посиделки ссыльных. И так — до полной и окончательной трагедии. А теперь я смотрю чужой спектакль и думаю: нельзя три часа рассматривать умерший цветок. Надо увидеть, что сначала цветка не было, потом этот цветок вырос, потом он стал красивый, потом стал увядать. Обязательно должен быть процесс. Он может быть чисто художественный, вовсе не впрямую отражающий сюжет, но он должен быть.

...Я говорю «движение», «процесс», но это совсем не то, что «мотор», скорость, темп. Мы и так уже приучили публику: спектакль обязательно должен быть внешне динамичным, должен идти коротко, быстро... По-моему, мы тут с водой выплеснули ребенка.

Мы проносимся по жизни в электричках, в самолетах, по реке мчимся в «ракетах» — и ничего не видим. Раньше на лошадях ездили, пешком ходили, останавливались — и больше нас видели. А мы проскакиваем... Я некоторых своих актеров загнал в такой «мотор», что они до сих пор из него никак не могут выйти. Я им говорю: «Тут — душа, тут надо о душе подумать», — а они мне: «Какая душа? Давайте скорее определим действие...» И я с грустью наблюдаю собственных замоторенных учеников. Глаза у них бегают, руки ноги дергаются, а мне им хочется сказать: остановитесь, бога ради. Это уже только суэта, мотор, механика. Больше я так не могу. Я достаточно опытен, чтобы «собрать» спектакль. Но мне не хочется «собирать» его только во имя того, чтобы публика не уходила в середине действия. Да уходи, уходи... Сегодня уйдешь, а завтра останешься, поймешь, привыкнешь. Нужно не идти за привычкой публики, а приучать ее к чему-то своему.

Теперь я и темп не гоню, а раньше гнал... Раньше я бы обязательно между картинами пустил музыку — а как же! Может, это и не я первый придумал — музыкальные паузы между картинами, но то, что «без занавеса», — уж это точно мы. И то, что на авансцене играют и что все так фронтально на этой авансцене, — это мы. Но все это тоже надоедает, нужно что-то другое. Вот и в «Трех сестрах» сейчас я хочу думать только об одном: висит что-то в воздухе, висит беда, а ее не хотят замечать и не замечают. И не потому, что беспечны, как в «Вишневом саде», а потому, что иногда замечать невозможно, недостойно как-то. Я хочу, чтобы это моим героям удалось до самого конца. Я их очень люблю и хочу, чтобы они выстояли до конца. В этой стойкости, в этой чистоте молодых людей (ведь они все очень молодые!) — поэзия спектакля, душа, дух его.

...Знаете, есть такое презрительное западное выражение — «нувориши». Богачи, которые неизвестно на чем разбогатели. Очень много художников-нуворишей. Чехов был интеллигентом в первом поколении. И он по капле из себя выдавливал раба. Чего он этим достиг? Он стал аристократом. В искусстве нельзя не быть аристократом. Аристократ — это вовсе не тот, кто интересуется кончиками своих ногтей. Это — дух. Допустим, что-то исчезло, ушло, но дух-то должен существовать! Еще сегодня родилось такое ужасное слово — «жлобство». Я размышлял по этому поводу и подумал: вот мы — дети, мы бегаем по улице, мы слышим мат, мы к нему

привыкаем, мы в школе плохо учимся, мы спешим на футбол, а потом — глядь, становимся режиссерами или актерами. А мы — те же дворовые мальчишки. Поставить Чехова или Шекспира сегодня трудно, потому что интонации идут чисто уличные. Вот МХАТ — это нечто другое. Степанова, например, — нет, она не с улицы. Она все время говорит что-то про Станиславского, никто ее уже не слушает, но она часто говорит дело. Вдруг вскользнет скажет: «А Станиславский считал, что водевиль нужно играть как трагедию». Я все это знаю, тысячу раз слышал, но это — дело. Она старая женщина, но как она носит платье, какая у нее фигура! Днем у нее репетиция, вечером — спектакль, а она всегда в форме, никаких капризов. Нет, что-то есть в этом театре... Вот у нас на Малой Бронной не витает дух Станиславского, хотя у нас очень хороший театр. Или в театре на Таганке — тоже не витает, хотя это замечательный театр. Всюду нувориши, а во МХАТе родословная есть. Это вещь серьезная.

Мне кажется, мы слишком опростились. Мы слишком опростили искусство, мы слишком опростили собственную жизнь, мы потеряли форму. Почему трудно поставить Чехова, почему трудно произнести монолог Треплева? Сейчас скажу... Когда-то во МХАТе шел спектакль «На дне», и Луку играл Москвин. И этот Лука верил в «праведную землю». А потом играл Грибов, и он в «праведную землю» уже не очень верил. И вокруг него все стало чуть проще. Старый МХАТ жизнь высветлял, искал свет. Они были поэтами, хотя при том были реалистами. А мы систему выучили, но забыли про свет. Система без поэзии — ничто. Поэтому сейчас так важна личность Станиславского. Говорят, когда он входил в комнату, люди бывали потрясены его красотой. А когда он начинал говорить, он говорил так просто! Чем человек больше, тем он разговаривает проще, тем шире смотрит на мир. Станиславский мог признавать Крзга и мог любить Мейерхольда. Станиславский — это свет, это высота, это религия. Сейчас в театре не хватает простодушия, не хватает той наивности, которая была в этом огромном гении. Есть высокие идеалы — вот что я хочу сказать. Мы не сопоставляем себя с высотой, а, наверное, это надо делать. Они были очень высоки духовно — Станиславский, Тургенев, Хемингуэй, Чехов... Теперь в театре этого не хватает.

Говорят, отстает драматургия. Да не отстает она, а идет ровненько с чем-то неблагородным, невысоким. Некоторые драматурги отражают жизнь-свалку. Может, свалку тоже надо отражать, но весь вопрос — как? Считается, что это в драматургии — авангард. Но разве под авангардом понимается, когда что-то ломают? Когда грязно? Нет, сейчас нужно что-то другое. Уже достаточно поломали, нужно строить. И потом ломать — это тоже надо уметь, чтобы не сидеть потом среди обломков.

У меня сегодня было одно впечатление, которое имеет прямое отношение к режиссуре. Только не сочтите меня сумасшедшим... Я сейчас был у нас в театре, зашел в туалет, а там сломанный бачок. Это — в театре! В храме, как говорил Станиславский. Мы к этому совершенно привыкли, это для нас норма, и ни одному человеку не придет в голову устроить скандал. Конечно, можно над этим и посмеяться. А для того, чтобы это исправить, нужно найти мастера, нужно потратить целый день да еще заплатить 25 рублей. И вот я думаю: надо это отражать или не надо? Или надо что-то противопоставлять? Это вопрос, который меня мучает. Надо мной квартира, где все время гуляют, — шум, ругань, топот. Живет там слесарь, у него очень большая семья, трезвым он не бывает. Нужно это отражать или надо что-то противопоставлять?

Я на телевидении снимал «Ромео и Джульетту». Монтаж на электронной установке делали молодые инженеры, современные хорошие ребята. Когда сидишь среди них, то невольно смотришь свой материал как бы их глазами — что им интересно. На экране объяснялись в любви, нежно и прекрасно. Я следил за парнем-монтажером — ему было совсем неинтересно. А когда началась драка с Тибальдом, он оживился! Казалось, он в жизни столько видит подобного! Кроме того, у него голова забита видеолентами, можно не сомневаться. Всех этих драк он вдоволь насмотрелся. Может быть, он думает, что только из этого состоит и жизнь, и искусство? Все это было бы смешно, если бы не было больно, грустно.

Сегодняшний мало читающий человек как бы очень много знает. Он как бы перевооружен. Не вооружен знаниями и культурой, а чем-то другим перевооружен. Слишком много на нем всякого оружия навешано, и лучи искусства через железо не пробиваются.

У человека в жизни возникла привычка все время защищаться. Мы защищаемся на улице, в магазине, на работе. Опасаемся чужой агрессии и сами внутренне готовы к грубости. И все это переходит в искусство... Я подумал: стократное напоминание зрителям, что жизнь жестока, не сделает их лучше. Так же, как стократное напоминание, что жизнь прекрасна, не сделает ее прекраснее. Но что-то должно теплиться в искусстве, внутри нас и людей облагораживать. Достоевский сказал, что мир спасет красота, — это же сказал писатель, который писал о таких страшных вещах! Я сейчас думаю: все-таки что-то вечное обгоняет временное. А вечное — это красота.

У нас по телевидению идут передачи «У театральной афиши». Я смотрел последнюю передачу, там было про приезжие периферийные театры. Видимо, это хорошие театры и неплохие спектакли, но уж очень грубые актеры, не только по манере, по интонациям, но и по выражению лиц. Вот — женщина, а у нее лицо мужчины. Нельзя же так! Надо как-то сохраняться, надо что-то делать. У женщины должно быть лицо женщины.

Очень многое изменилось вокруг нас за последние лет двадцать. Изменилось даже просто в человеческой фактуре. Не видеть этих опасных изменений невозможно, мы не слепые. Раньше я думал так: спектакль не столько должен быть красивым, сколько должен быть жестким. Даже Чехова я старался ставить жестко — чтобы были доски, чтобы кто-то бил по ним кулаком. Так у нас в «Чайке» бил по доскам Треплев. Все это сейчас зашло в тупик. Путь сейчас только один. В шутку я его формулирую так: иметь сердце и стремиться к красоте. Потому что осточертела грубость во всех ее проявлениях — от туалетной грубости до актерской. Невозможно сказать актеру нежное слово, невозможно его и услышать.

Я думаю, что новые театры должны идти не по пути «дворовости», а по пути красоты, потому что отсутствие настоящего воспитания, отсутствие потомственности и преемственности уже слишком сильно сказывается. В конце концов это грозит вырождением. То, что называется «жлобством», мы впустили на сцену, а теперь не знаем, как оттуда выгнать. Это жлобство иногда сильнее нас.

Какой должна быть сегодняшняя красота? Мне кажется, она не может быть «хорошенькой». Прекрасное обладает способностью волшебным образом заполнять собой пространство, при том что прекрасное никогда не агрессивно. Это широта взглядов, свобода мысли, это крупность вопросов, поставленных в пьесе. А на сцене эти вопросы нужно еще поднять на высоту художественную, нужно их как-то эстетически решить. Без этого невозможно, без этого не на чем совершенствоваться. Совершенствуешься только на крупных задачах. Иначе театр — не театр, а какое-то развлекательное учреждение или скверная квартира, где все переломано. Все тот же испорченный бачок...

Говоря о красоте, я не хотел бы быть понятым неверно. Когда от нас некоторые чудачки-критики требуют красоты, они требуют вовсе не красоты, а благополучия. Искусство же не должно быть благополучным. Оно должно быть страшно неблагополучным. Красота неблагополучна.

Когда у Любимова в «Доме на набережной» все ужасы доведены до красоты — это настоящее искусство, хотя это и очень страшно. Но это художественность, это эстетика.

Так что красоту нужно понимать не в рамках требований, которые иногда к нам предъявляются. Мне постоянно говорили: это слишком мрачно, сделайте по красивей, черный бархат — это мрачно, это поклеп на нашу действительность, сделайте что-нибудь светленькое... А Станиславский в своей книге целую главу написал о черном бархате, потому что нашел в нем одну из тайн сценической красоты.

Я, как видите, все импровизирую на тему Станиславского, рассуждаю о совершенстве. А вы слушаете и, конечно же, с иронией вспоминаете свой быт, свой театр... Да, нигде нет совершенства. Однако приучать публику к нашей собственной профессиональной неряшливости и некрасивости — грех.

В искусстве и в жизни не хватает благородства. Но если оно ушло вместе со Станиславским, с Чеховым — неужели оно исчезло совсем и в нас самих? Ведь и Станиславский, и Чехов наверняка работали над собой, что-то некрасивое из себя выдавливали, один — раба, другой — актера-красавца, любимица публики. Вот мы и приходим опять к тому же: надо работать. Надо хранить благородство, поддерживать его. Другой путь кажется мне скучным и неплодотворным.

Публикация Натальи КРЫМОВОЙ.





**П. В. КУЗНЕЦОВ.  
СТРИЖКА БАРАШКОВ.  
1912.**

## КУЗНЕЦОВ НА КУЗНЕЦКОМ

Начало см. на стр. 8.

вый путь. В слабых руках женщины. Вначале его привязали к чемоданчику. Потом, когда чемоданчик бросили в разбитом Воронеже, единственной спасенной вещью был холст Кузнецова. Вещмешок сменил чемоданчик, и полотно торчало оттуда. Холст путешествовал вместе с владелицей и бригадой артистов. Из одного подразделения в другое.

Однажды офицеры штаба двести семьдесят... — вот последней цифры не помню, в дивизии служил мой отец, а владелица картины была в расположении этой дивизии, кажется, где-то в Донбассе, — любовались полотном Кузнецова несколько минут. Владелица картины разминувшись с отцом ночью. Он ушел куда-то на задание, а она, отшагав сколько-то километров, смогла поговорить только с его товарищами. Ну и без холста дело не обошлось. Тогда подобные

истории были в порядке вещей, так сказать, в порядке дня. Сейчас, из глубины лет, эти незначительные события видятся иначе. Они приобрели некое новое значение, исполнились новым смыслом.

Холст на своем языке говорил чрезвычайно редко. Его не рекомендовалось разворачивать. Масло могло бы потрескаться, осыпаться. Судьба уберегала холст и от ударов. До сих пор на нем нет ни одной трещинки.

Однажды грузовик с артистами катил на выступление. Немецкий штурмовик обстрелял его. Пуля попала в самый конец рулона, оторвала краешек. И хозяйка поняла: слишком долго испытывать судьбу опасно. С первой же оказией она отправила полотно в тыл.

Его принесли, когда мать была на дежурстве в госпитале. Я спрятал холст за шкаф. Я не знал еще, что с

ним делать: сказать матери или умолчать. Эвакуация плохо подействовала на мою нравственность. Я, что называется, отбил от рук. Школу, как в те годы выражались мальчишки, «пасовал» безбожно. Потом, когда наши дела поправились после разгрома немцев под Сталинградом, мальчишескую вольницу постепенно прибирали к рукам. На базаре не появись, в городском тире пульки утром не продают, на улице милиционер мог остановить и потребовать ученический билет, в котором указывались смена, класс и школа.

Словом, трудные времена настали для мальчишек. Я решил у дворника соседнего дома выменять холст на табак и жмых. И выменял. Курил и жевал неделю. Через неделю он меня поколотил, но холст вернул. Жена его испугалась — могут придраться, что ворованный. Так, в сущности, оно





НАТЮРМОРТ С ПОДНОСОМ.  
1913.

Омский музей изобразительных искусств.



шенному сочетанию голубых и синих тонов напоминала реальный сон. Оба молчали. Я уловил в его лице беспокойство. Я удивился. Признанный мастер, и испытывает беспокойство перед своим давнишним полотном?! Человек, проживший долгую жизнь, исполненную борьбы и исканий, находит в себе силы переживать что-то, глядя на холст?! Он не умиротворен? Поразительно.

В нем продолжала кипеть страсть. Сквозь великолепную сдержанность прорывался неудержимый интерес к миру, к своим полотнам. Он не был к ним равнодушен. И вместе с тем в Кузнецове присутствовала некая отрешенность от собственной экспозиции. Он как бы переживал ее со стороны. И это очень волновало, потому что здесь чувствовалось переживание, связанное с искусством вообще. Есть такой род переживаний — радость за искусство, за его благополучное пришествие на землю — нечто большее, чем радость за себя, радость по поводу своего успеха. Сейчас радость и ответственность стояли рядом. Такое чувство — удел крупных натур.

Не каждому удается подсмотреть, как замечательный мастер разглядывает свои полотна. Сколько внимания уделил Оноре де Бальзак в «Неизвестном шедевре» описанию осмотра картины художником, художниками! Беспокойство Пуссена, беспокойство Френхера, беспокойство Лантье, беспокойство Александра Иванова, беспокойство Сурикова. «В искусстве надо верить!» — восклицал Бальзак. И сколько раз ни смотрит настоящий мастер на свое детище, столько раз он испытывает жгучее беспокойство за судьбу полотна, за судьбу искусства, за свою веру.

Взгляд Кузнецова материален. Он смотрел свою картину не по частям, а в целом, остановившись от нее подальше. Потом я додумался, что так кова особенность его зрения. Способность сразу охватить все пространство и увидеть часть его как целое. Воссоздать пространство через его часть.

Зритель сам детализует, его фантазия разбужена. К этому «дальному зрению» Кузнецов прибегал часто. Таким образом он получал возможность более свободно обращаться с цветом, не выходя из определенных, поставленных судьбой рамок. Отсюда в его полотнах и появляется та или иная преобладающая гамма.

Полотно Кузнецова композиционно завершено. Он любит композицию, но пренебрегает ею. Но он и не переоценивает ее значения. Связи между предметами в картине настолько крепки, насколько они крепки в действительности. Ни меньше ни больше...

Пора было прощаться. Я повернулся к нему и заметил, что он изучает мой взгляд так же, как я его. Но делает это более искусно.

Я покидал зал с прекрасным ощущением в душе. Кузнецову наш разговор был приятен. Он кивнул мне со своего диванчика: мол, до свидания, желаю удачи! И мне захотелось ему крикнуть в ответ: до скорого свидания, желаю удачи! Но я постеснялся и теперь клянусь себя. Надо было крикнуть! Надо было!

Могут сказать, что я чуть субъективен в своих суждениях о полотнах Кузнецова.

Но субъективны были все участники этой истории: и шофер, и родные, и я, и сам Кузнецов, и зрители, которые бродили по выставке.

Будем доверять своим впечатлениям. Будем доверять впечатлениям наших друзей и просто знакомых. Будем искать в них зерно истины. Каждый зритель субъективен, но вместе мы объективны, и выражается это в признании и любви, с какой смотрят на Кузнецова те, кому сегодня совсем немного лет.

Виталий ЗАСЕЕВ

Президент крупнейшей американской торгово-посреднической фирмы «Интерторг, Инк» Т. КЕРИМ считает, что сегодня моду диктует не только Париж, но и Москва: «Стиль, исповедуемый в моде Вячеславом Зайцевым, наверняка понравится американцам».

## РУССКАЯ МОДА?

**П**режде чем задать президенту несколько вопросов, представлю его читателям журнала. Изящная, средних лет женщина с темными выразительными глазами лезгинки (дед Тамары Керим — выходец с Кавказа); она, судя по всему, обладает изысканным вкусом и незаурядным чутьем в области конъюнктуры. В совершенстве владеет несколькими языками, в том числе и русским, президент «Интерторг, Инк», как пишут американские журналисты, в полном объеме вобрал трудно формулируемые качества, которые необходимы в международной торговле.

— Некоторые американцы не могут понять простой истины, что случайный и непостоянный торговый обмен с Россией нежизнеспособен, — говорит Т. Керим. — Пробыться на советский рынок невероятно трудно — это требует времени, денег и больших усилий. Однако, если вы добьетесь успеха, ваши прибыли будут грандиозными.

Пятнадцать лет назад, впервые оказавшись в Москве по туристической визе с небольшим чемоданом и грандиозными честолюбивыми замыслами, Т. Керим трижды продлевала визу, пока не увезла с собой целый пакет заманчивых предложений, которые сразу же заинтересовали многих американских предпринимателей. А вскоре она подписала в Москве и свой первый контракт на 50 тысяч долларов. Сегодня на фоне нынешних масштабов ее деловых операций эта сумма кажется символической.

— Согласно традиции, ваша фирма много лет является посредником между крупнейшими нефтяными и строительными компаниями США и внешнеэкономическими организациями Советского Союза. И вот теперь портновский дизайн, модели одежды? — спрашиваю я.

— Во-первых, не следует забывать, что «Интерторг, Инк» возглавляет женщина, — смеется моя собеседница. — Ну и во-вторых, создание моделей одежды и их пошив превратились отныне в неплохой бизнес.

— В таком случае хотелось бы узнать, с чего началось ваше увлечение русской модой и, в частности, Вячеслава Зайцева?

— Каждый год бывая по несколько раз в Москве, — рассказывает Т. Керим, — я постоянно откладывала визит в Дом моделей Вячеслава Зайцева, про которого мне, что называется, все уши прожужжала Нина Молоканова, директор проектов моей фирмы. И вот однажды, усадив меня в машину и ни слова не говоря, она повезла меня на проспект Мира. То, что я там увидела, поразило меня. Вячеслав Зайцев наделен редчайшим даром — тонким инстинктом времени. Он не дает ему «перешагнуть» через себя и оторваться хотя бы на метр вперед. Простота и широта замыслов художника, его демократизм и юношеская увлеченность своими идеями заставили меня в тот же вечер подумать о нашей совместной работе. Нынешняя политика вашей страны создала лучшие к тому предпосылки.

Отдадим должное президенту «Интерторг, Инк». Не раз в годы ухуд-

шения отношений между нашими странами офисы фирмы хулиганы поливали красной краской с явным намеком на ее деловые контакты с Советским Союзом. Но Т. Керим продолжала свою линию.

Теперь по ее инициативе в ближайшее время в Сан-Франциско в одном из лучших районов города открывается «Дом Зайцева».

— Я хочу, — говорит Тамара Керим, — предоставить женщинам среднего и выше среднего уровня достатка возможность одеваться в элегантные, классические по концепции и оригинальные по форме и в то же время легкие в носке и удобные ансамбли, которые будут продаваться по умеренным ценам. Сегодняшняя американка, равно как и русская женщина, очень мобильна. Ей нужна одежда, не мешающая движениям, легкая и комфортная в ощущении. У нее нет времени для «творческих» походов по магазинам, чтобы подобрать идеально подходящий к платью жакет или блузку для делового костюма. Поэтому координированные ансамбли — любимая форма для деловой городской женщины, и мы постараемся в «Доме Зайцева» обеспечить ее такой одеждой, как я уже говорила, за умеренную плату.

Чтобы продвинуть свою идею на американский рынок, Тамара Керим организует в Нью-Йорке демонстрацию моделей одежды Вячеслава Зайцева с использованием лучших манекенщиц Америки. На выставке будут представлены платья, костюмы, ансамбли из смесовой шерсти, шелка, льняной смеси, хлопка, а также креп-дешина, шифона, «полированного» хлопка для вечерних туалетов. Всего американцам будет показано около двухсот моделей. А первыми зрителями станут владельцы крупных магазинов, журналисты, художники и представители всемогущей в Америке рекламы.

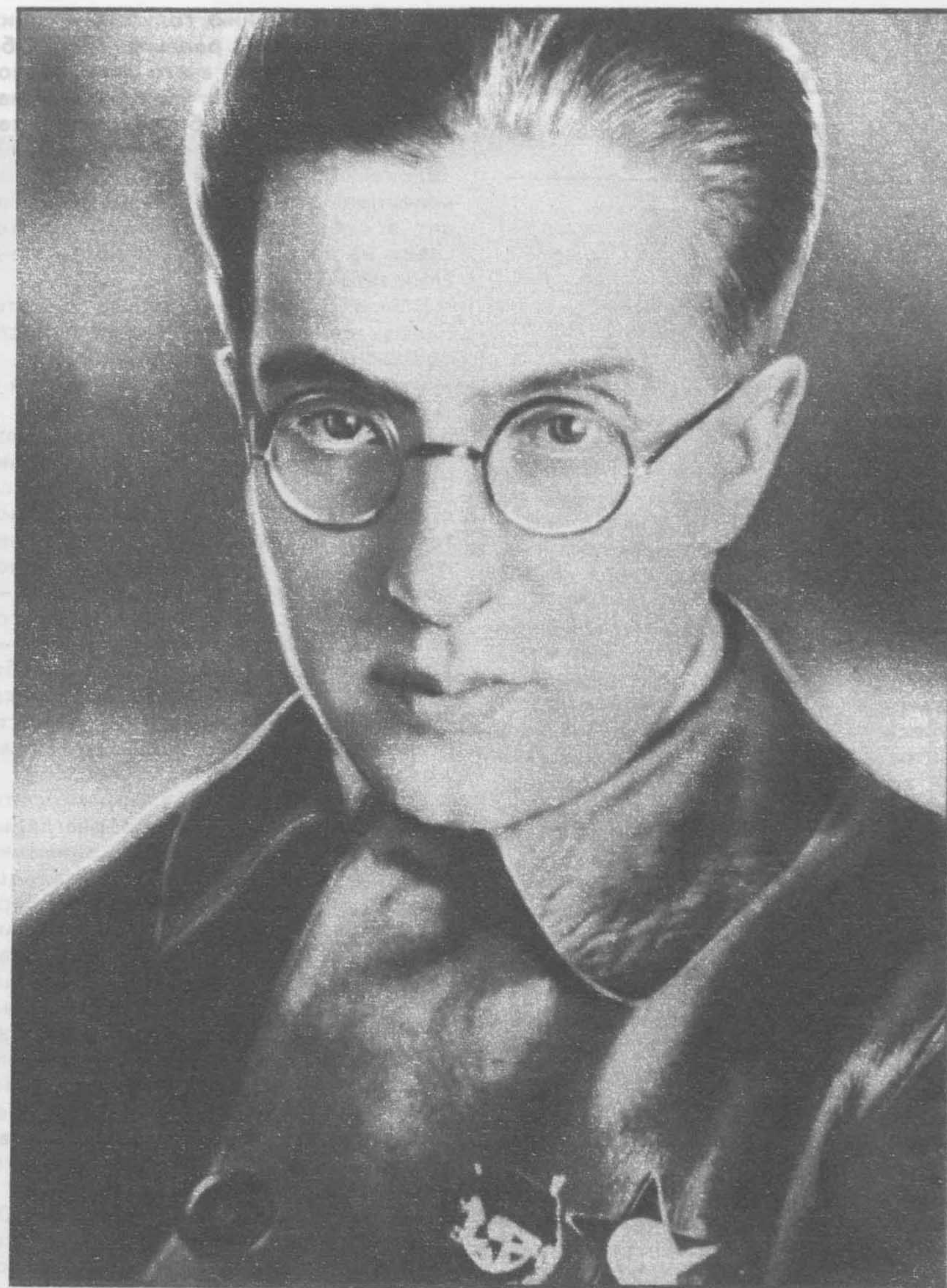
— Если первый блин не окажется комом, — говорит Т. Керим, — мы откроем «Дом Зайцева» по всей стране. А в дальнейшем с его фирменным знаком будем продавать не только одежду, но и духи, постельное белье, обувь...

Я с интересом слушаю рассказ Тамары Керим и искренне радуюсь за нее. Я радуюсь за Вячеслава Зайцева, который наконец-то получил возможность выйти на мировую арену моды и показать всему миру, что не в медвежьей шкуре ходят люди в России. И все же одна мысль не дает мне возможность закончить этот репортаж на мажорной ноте. А разве не хотели бы ленинградки и одеситки, киевлянки и жительницы Свердловска, Владивостока, Мурманска, Ташкента и многих других городов нашего необъятного Союза одеваться в удобную, современную и недорогую одежду «от Зайцева»? Наверняка хотели бы!

И когда через несколько недель Америка будет аплодировать таланту нашего модельера, не хочется соглашаться с аксиомой, что в своем отечестве пророков нет. Они есть. Их надо увидеть, понять и дать возможность заявить о себе во весь голос. Не дожидаясь, пока это сделают за нас другие.



Б. Е. Ефимов — известный советский карикатурист, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. Сегодня он рассказывает о трагической судьбе своего брата — Михаила Кольцова, первого редактора «Огонька», замечательного журналиста и писателя, автора знаменитого «Испанского дневника».



Михаил Кольцов,  
1938 год.  
Последняя фотография.

В АПРЕЛЕ 1937 ГОДА СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» МИХАИЛ КОЛЬЦОВ БЫЛ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВЫЗВАН В МОСКВУ ИЗ ИСПАНИИ. К ЭТОМУ МОМЕНТУ ПРОШЛО ОКОЛО ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ С ПЕЧАЛЬНО ПАМЯТНОГО ДНЯ 18 ИЮЛЯ 1936 ГОДА, КОГДА ПРОЗВУЧАЛ ЗЛОВЕЩИЙ РАДИОСИГНАЛ К ФАШИСТСКОМУ МЯТЕЖУ: «НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО». ВСЕ ЭТИ МЕСЯЦЫ, НЕДЕЛИ И ДНИ МИЛЛИОНЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРАВДЫ» С ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ИНТЕРЕСОМ И ВОЛНЕНИЕМ ЧИТАЛИ КОЛЬЦОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БАРСЕЛОНЫ, МАДРИДА, ТОЛЕДО, ГВАДАЛАХАРЫ, БИЛЬБАО, ВИДЕЛИ ЕГО ГЛАЗАМИ И ПЕРЕЖИВАЛИ ЕГО ЧУВСТВАМИ МУЖЕСТВЕННУЮ И НЕРАВНУЮ БОРЬБУ ЗАЩИТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ПРОТИВ НАГЛОГО, ВООРУЖЕННОГО ДО ЗУБОВ

ИСПАНО-ИТАЛО-ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА. СПЕЦКОР «ПРАВДЫ» ПОСПЕВАЛ ВСЮДУ, НОСИЛСЯ ПО ФРОНТОВЫМ ДОРОГАМ, ПОЯВЛЯЛСЯ В ОКОПАХ, КОМАНДНЫХ ПУНКТАХ, ШТАБАХ. ВНИКАЛ В РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОНЫ, ВОЕННЫХ И ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ, МИНИСТЕРСТВ. СООБЩАЛ ОБО ВСЕМ ОПЕРАТИВНО, ДОСТОВЕРНО, ЯРКО. ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ РАЗВЕРНУЛИСЬ ТОГДА НЕЗАУРЯДНЫЕ ЕГО ЖУРНАЛИСТСКИЕ КАЧЕСТВА — ИНИЦИАТИВА, НАХОДЧИВОСТЬ, НЕУТОМИМОСТЬ, БЕССТРАШИЕ. А ВЕСЕЛЫЙ ЕГО НРАВ, ОСТРОУМИЕ, ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ СНИСКАЛИ ЕМУ И ТАМ МНОГО ДРУЗЕЙ. РАБОТЕ КОЛЬЦОВА В ИСПАНИИ ОТДАВАЛИ ВПОСЛЕДСТВИИ ДОЛЖНОЕ УЧАСТНИКИ ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ, НАШИ ВИДНЕЙШИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, ТЕПЛО ВСПОМИНАВШИЕ ЕГО: Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ, К. А. МЕРЕЦКОВ, Н. Г. КУЗНЕЦОВ, П. И. БАТОВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Борис ЕФИМОВ

# ТАЙНА СУДЬБЫ МИХАИЛА КОЛЬЦОВА

**В** романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй так пишет о некоем русском журналисте с легко расшифровываемой фамилией Карков: «...Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». В том же романе, от имени главного героя — американского писателя Роберта Джордана, во многих оценках которого слышен голос Хемингуэя, говорится: «...А Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать... Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого бы была такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие... Ему никогда не надоедало думать о Каркове».

В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург вспоминает: «Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова... Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником... Маленький, подвижный,

смелый, умный до того, что ум становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями». К этим словам Ильи Григорьевича следует добавить, что, насколько я знаю, функций политического советника никто Кольцову не поручал. Он ехал в Испанию только как журналист, корреспондент «Правды». Но Кольцов не был бы Кольцовым, если бы в той сложной, бурной обстановке остался в рамках чисто газетной работы. Не в его это было характере. И спецкор «Правды» закономерно и естественно пришел к более масштабной и ответственной деятельности.

Итак, к первому майскому празднику 1937 года Кольцов ненадолго приезжает в Советский Союз. На Белорусском вокзале его встречает, как говорится, «вся Москва» — журналистская и писательская. Отблеск захватывающей борьбы в Испании ореолом всенародной популярности ложится на спецкора «Правды». Он окружен всеобщим вниманием. В Кремле ему вручается довольно еще редкий в ту пору боевой орден Красного Знамени.

На традиционном первом майском

приеме в Георгиевском зале Кремлевского дворца среди многих прозвучавших там здравниц был и тост, предложенный народным комиссаром по военным делам.

— Вы знаете, товарищи, — сказал Климент Ефремович Ворошилов, — в Испании сейчас идет война. Упорная, нешуточная война. Воюют там разные нации. Затесались туда и наши русские. Я предлагаю, товарищи, поднять бокалы за представителя наших людей в Испании, присутствующего здесь товарища Михаила Кольцова.

А писатель Лев Славин рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях: «Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал: «Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!»

В эти дни Кольцов, что называется, «нарасхват»: ему приходится рассказывать о своих испанских впечатлениях в самых различных аудиториях. Но самой серьезной из этих аудиторий была, несомненно, и самая многочисленная из них — всего пять человек. Это были Сталин и наиболее приближенные к нему лица — Моло-

тов, Каганович, Ворошилов, Ежов.

Вопросы к Кольцову о самых разнообразных деталях военной и политической ситуации в Испании и его обстоятельные ответы заняли больше трех часов. Наконец, беседа подошла к концу.

— И тут, — рассказывал мне брат в тот же вечер, — он стал как-то чужд. Остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин, — ответил я.

— Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет, — еще более удив-



ляясь, ответил я, — и в мыслях не имею.

— Ну, вот и отлично, — сказал Сталин. — Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.

На другой день, коснувшись в телефонном разговоре происшедшей накануне беседы, К. Е. Ворошилов, как всегда дружелюбно, сказал Кольцову:

— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.

— Что ж, Мышонок, — сказал я, когда брат мне об этом рассказал, — по-моему, это очень приятно.

— Да, приятно, — произнес Миша задумчиво. — Но знаешь, что я совершенно отчетливо прочитал в глазах хозяина, когда он провожал меня взглядом?

— Что?

— Я прочитал в них: слишком прыток.

...Шел тридцать седьмой год.

Есть крылатые поэтические строки: «Сороковые, роковые... Война гуляет по России...». А недавно стихи стали публиковаться о том, как «гуляли по России» тридцатые. С великой болью написанные «По праву памяти» А. Твардовского, «Реквием» А. Ахматовой, стихи О. Берггольц...

Тридцатые гуляли по России. Чуть ли не в каждый дом, чуть ли не в каждую семью вместе с сообщениями о трудовых победах железной, леденящей поступью входило то непостижимое и страшное, что, направляемое некой безжалостной рукой, отнимало свободу и жизнь, грубо и бесчеловечно растаптывало честь людей, их человеческое достоинство, заслуги перед народом, преданность Родине, веру в справедливость и законность.

Народ назвал это время «ежовщиной».

Как объяснить сегодняшнему читателю, что это такое?

Как описать состояние тысяч и тысяч людей, не знающих за собой никакой вины, но каждую (каждую!) ночь с замиранием сердца прислушивавшихся, не раздастся ли в дверь роковой звонок, облегченно вздыхавших и забывавшихся тяжелым сном где-то под утро для того, чтобы в течение дня с ужасом думать о следующей ночи.

Как рассказать, какими словами изобразить настроение людей, всеми фибрами души чувствующих нависшую над ними и их семьями беду и бессильных ее отворотить, не знающих, как спастись, куда деваться, скованных и беспомощных, как в ночном кошмаре.

Эти люди страстно желали бы что-то у кого-то спросить, что-то кому-то объяснить, в чем-то оправдаться, что-то опровергнуть. Но сделать это нет ни малейшей возможности просто потому, что никто никаких вопросов им не задает, ни в какие объяснения не вступает, никаких претензий не высказывает, никаких обвинений не предъявляет. Человек чувствует себя в каком-то жутком бредовом вакууме, но должен при этом делать вид, что никаких оснований для беспокойства у него нет, должен казаться абсолютно спокойным и бодрым, сохранять полную работоспособность, как обычно, выполнять свои обязанности.

Такова была в общих чертах обстановка «ежовщины», связанной с именем маленького бесцветного человека, всемогущим капризом вознесенного на головокружительную высоту власти и так же легко и равнодушно с нее низвергнутого.

Вижу, как, шагая взад и вперед по своему кабинету в «Правде» (к этому времени он уже был окончательно отозван из Испании), Кольцов размышлял вслух:

— Думаю, думаю... И ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось в стране столько врагов? И кто? Люди, которых мы годами знали и уважали, с которыми вместе работали, рядом жили. Командармы, полпреды, наркомы, герои гражданской войны, старые партийцы-ленинцы. И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что являются замаскированными врагами народа, шпионами, агентами иностранных разведок. Что замыслили вернуть земли помещикам, фабрики капиталистам... В чем дело? Я чувствую, что схожу с ума. А ведь по своему положению — член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета — я, ка-



зальсь бы, должен уметь объяснить людям смысл того, что происходит, причины такой массы разоблачений и арестов. А на самом деле я, как самый последний перепуганный обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах.

— То ли кто-то, — продолжал брат, — может быть, Ежов, непрестанно разжигает его подозрительность, подсовывая наскоро состряпанные разговоры и измены. То ли, наоборот, он настойчиво и расчетливо подогревает усердие Ежова, поддразнивает, что тот не видит у себя под носом предателей и врагов народа. Вот тебе, кстати, характерный штрих, который многое мне объяснил. На днях я зашел к Мехлису, застал его за чтением какой-то толстой тетради. Это были показания недавно арестованного редактора «Известий» Талая. «Прости, Миша, — сказал он мне со своей улыбочкой, — не имею права, сам понимаешь, дать тебе прочесть. Но посмотри, если хочешь, его резолюцию». Я посмотрел. Красным карандашом было написано: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех упомянутых здесь мерзавцев. И. С.».

Понимаешь? — сказал Миша. — Люди, о которых идет речь, еще на свободе. Они работают, может быть, печатаются в газетах, ходят с женами в гости и в театры, собираются в отпуск куда-нибудь на юг. И не подозревают, что они уже «мерзавцы», что они уже осуждены и, по сути дела, уничтожены одним росчерком этого красного карандаша. Ежову остаются чисто технические детали: оформить «дела» и выписать ордера на арест.

Я слушал брата, и сердце сжималось зловещей тревогой. Я не мог отделаться от мысли, что и его судь-



М. Кольцов под Мадридом.  
Фото Р. Кармена.

Среди рабкоров «Правды».  
Конец 20-х годов.

выговаривая слова, — меня не пригласили.

Развязка наступила 12 декабря 1938 года.

В этот вечер Кольцов выступал с большим докладом о недавно опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» в Центральном Доме литераторов. Знаменитый Дубовый зал писательского клуба был заполнен до отказа. Я нашел себе место наверху, на хорах. В перерыве я спустился в зал. Кольцов был, как всегда, окружен людьми, оживлен, весело обменивался шутливыми репликами. После собрания мы подошли к нему в вестибюле вместе с его помощником Н. Беляевым, и я предложил поехать всем ко мне пить чай. Миша подумал и сказал:

— Чай — это неплохо. Но у меня еще есть дела в редакции. Я поехал в «Правду».

Мы условились увидеться на завтра. Но на завтра мы не увиделись. И не увиделись больше никогда.

Рано утром 13 декабря меня разбудил телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос кольцовского шофера, который вчера отвозил его в редакцию.

— Борис Ефимович? Это Костя говорит, Деревенсков. Борис Ефимович... Знаете... Вы ничего не знаете?

— Я все понял, Костя, — ответил я.

На другой день мне рассказала секретарша Кольцова в «Правде» Валиа Ионова:

— Михаил Ефимович прошел к себе в кабинет, снял пальто, попросил меня «организовать чайку погорячее и «покрепче» и сел за свой стол. Тут же раздался звонок от Ровинского, который в этот день дежурил по номеру. Просил срочно к нему зайти. Михаил Ефимович пошел к Ровинскому, очень скоро от него вернулся, забрал свое пальто и снова вышел. Я выскочила за ним в коридор и окликнула его:

— Михаил Ефимович! Куда же вы? Надолго? А чай?

Он остановился и посмотрел на меня как-то рассеянно. Мне бросилось в глаза, что он был очень бледен.

— Что, Валечка? — спросил он. — Чай? Не знаю... Может быть, задержусь.

...С первых дней Великой Отечественной войны в моей душе зародилась надежда на освобождение брата. Я был твердо убежден в том, что он жив. И прежде всего потому, что в течение почти всего 1939 года бесспорным признаком его существ-

ба может быть решена вот так же... красным карандашом на чьих-нибудь вынужденных или выдуманных показаниях. Я отчетливо представлял себе, как где-то в тиши недоступных для простых смертных кабинетов решается участь Кольцова, как кто-то, скорее всего Мехлис, прилагает все усилия посеять в подозрительном уме Сталина недоверие к «дону Мигелю» и где-то во тьме колеблются таинственные весы, на которых лежит его судьба.

Вскоре произошло обстоятельство, обострившее мою тревогу.

В Москву приехали гости из Испании — командующий военно-воздушными силами республики генерал Сиснерос и его жена, журналистка Констанция де ла Мора. Кольцов дружил с ними в Испании и, естественно, постарался окружить их в Москве гостеприимным вниманием. В один из вечеров испанские гости ужинали на квартире у Кольцова. Пришел и я. Помню, именно в этот день в газетах был напечатан указ о снятии Ежова и назначении на его место Берии. Сев за стол рядом с братом, я сказал ему вполголоса:

— Ну, вот и не стало Ежова. Кончилась «ежовщина».

— Как сказать, — неохотно отозвался Миша. — Может быть, теперь станут подозрительными те, кого не тронул Ежов.

А еще через день брат очень живо, с забавными подробностями, рассказывал мне, как темпераментно перебивая друг друга, супруги Сиснерос описывали прием у Сталина, как они были потрясены и очарованы его простотой и добродушием, как мило он представлялся каждому из них, пожимая руку и называя при этом свою фамилию, какую осведомленность проявил он в биографии и боевых заслугах самого Игнасио и даже любезно вспомнил его пражского, видного флотоводца Испании адмирала Сиснероса (все эти факты были, разумеется, заблаговременно подготовлены Кольцовым).

Я молча слушал брата, и меня сверлил один-единственный вопрос, который я, наконец, задал, хотя ответ на него был ясен заранее:

— Скажи, Мышонок. А... А тебя не пригласили?

Он посмотрел на меня своим умным, все понимающим взглядом.

— Да, — сказал он, очень отчетливо



ования и вместе с тем единственной связывающей с ним ниточкой был прием денежных передач.

Аккуратно три раза в месяц я приходил в извилистый проходной двор, соединяющий Кузнецкий мост с Пущечной улицей, и входил в невзрачную дверь, на которой висела табличка с маловразумительной надписью: «Помещение № 1». В этом «помещении» через крохотное окошко я вносил на имя Кольцова Михаила Ефимовича установленную сумму, расписывался и получал квитанцию.

Мне хотелось при этом думать, что эти медленно тянущиеся месяцы — хороший показатель. Видимо, есть намерение серьезно и терпеливо разобраться в деле Кольцова, и брату удастся опровергнуть клеветнический наговор. Мы тогда еще не понимали, что сам факт ареста уже предвещал судьбу человека. И я не мог знать, что брат находится в руках одного из следователей-сидистов, натренированных на фальсификации «обвинений».

Шли месяцы...

И вот где-то в начале февраля 1940 года денег у меня не приняли и сообщили, что дело Кольцова следствием закончено.

Я понял, что наступили решающие дни. Не будучи в состоянии сидеть сложа руки, я заметался, как в лихорадке, наивно пытаясь что-нибудь предпринять. Известный московский адвокат Илья Браудэ, участник ряда громких политических процессов 37-го года, посоветовал добиваться допущения к слушанию дела Кольцова защитника и предложить свои услуги. Без особой надежды на успех я все же написал письмо председателю Военной коллегии Верховного суда СССР, небезызвестному В. В. Ульриху с просьбой принять меня по этому вопросу. Сгоряча я решился и на более серьезный шаг: направился на Центральный телеграф на улице Горького, составил телеграмму с просьбой разрешить участие защиты в деле Кольцова и отправил ее на имя Сталина.

Прошло несколько дней. Ответа нигде не было. На всякий случай я решил справиться в канцелярии Военной коллегии, находившейся в доме возле памятника первопечатнику Ивану Федорову.

Дежурный сотрудник повел пальцем по страницам толстой книги.

— Кольцов Михаил Ефимович? 1898 года рождения? Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет заключения в дальних лагерях без права переписки. Следующий...

В тот же день, к моему глубокому удивлению, мне позвонили из секретариата Военной коллегии и сообщили, что Ульрих меня примет.

...В огромном кабинете, усталом ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усами. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых — тридцатых годов.

Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.

— Ну-с, улыбочку заговорил он, садясь в кресло, — садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели? Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотите. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении защитника к слушанию дела Кольцова, но третьего дня узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!

— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, десять лет без права переписки?

— Да, Василий Васильевич. Но позволите быть откровенным, — осторожно сказал я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое...

— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики

тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать, и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.

— А в чем его обвиняли?

Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.

— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятидесяти восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.

И далее беседа наша приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывая свои мысли о последних театральные постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, каково мнение о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «изуэвской», и т. п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.

— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь.

Я уже понял, что мой собеседник просто-напросто забавляется нашей беседой, но продолжал вставлять интересующие меня вопросы. Однако все, что я узнал, — это, что председательствовал на суде над Кольцовым лично он, Ульрих, и что «выглядел Кольцов, как обычно, разве только немножко осунулся...».

— А он признал себя виновным? — спросил я.

Ульрих юмористически погрозил мне пальцем.

— Э, какой вы любопытный, — сказал он со своей «знаменитой» улыбочкой и после маленькой паузы добавил: — Довольно ершистый у вас братец, Колочий. А это не всегда бывает полезно...

Потом помолчал и, став вдруг серьезным, сказал:

— Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что, если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?

Ясное дело было дать понять, что все мои вопросы, расспросы и хлопоты не только наивны, но и бессмысленны. Разговор явно пришел к концу. Я поднялся с места. Однако мой словоохотливый собеседник снова начал балагурить.

— А вот мне хорошо, — болтал он, выйдя из-за стола и прохаживаясь по громадному ковру, — никаких у меня нет братьев и вообще никаких родственников. Был вот отец и тот недавно умер. Ни за кого не надо бояться и хлопотать не надо. Да... Ну-с, а вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А брат ваш, — доверительно прибавил он, — находится, думаю, сейчас в новых лагерях за Уралом. Да, наверно, там.

Уже выходя из кабинета, я остановился в дверях.

— Василий Васильевич! — сказал я, — а вы разрешите через какое-то время вернуться к этому делу, ходатайствовать о его пересмотре?

В водянистых глазах Ульриха мелькнула усмешка.

— Конечно, конечно, — сказал он. — Через какое-то время...

Шли напряженные дни первого года великой войны. Советские люди, каждый на своем посту, каждый на своем месте вставали на защиту Родины. И меня ни на минуту не оставляла мысль: может ли быть, чтобы в тяжелую годину, когда для отпора свирепому и опасному врагу нужен каждый талантливый и смелый человек, может ли быть, чтобы в строй военных писателей не вернули испытанного работником в Испании боевого правдиста, как в ряды армии вернули многих, ранее репрессированных военных деятелей?

Я живо представлял себе, с какой радостью и с каким азартом включился бы Кольцов в борьбу против ненавистного ему фашизма, как достойно встал бы он в ряды писателей-фронтовиков плечом к плечу с Алексеем Толстым, Александром Фадеевым, Михаилом Шолоховым, Всеволодом Вишневским, Константином Симоновым, Ильей Эренбургом, Василием Гроссманом, Борисом Полевым и другими. Сколько бичующих лютого врага памфлетов, сколько волнующих, ярких корреспонденций и очерков было бы передано им и с передовых линий действующей армии, и из партизанских районов, и с оборонных заводов глубокого тыла.

Конечно, этими мыслями я ни с кем посторонним не делился. В те времена их следовало держать при себе. Ведь если любой человек, при любых обстоятельствах потерявший

отца или брата, мог с печалью о них вспоминать, рассказывать, горевать, то те, чьи родные были репрессированы, такого права были лишены. Им полагалось обходить имена близких людей молчанием, делать вид, будто их никогда и на свете не было, и поминать их только в соответствующей графе различных анкет. Ведь в глазах многих лица, имеющие репрессированных родственников, являлись элементом подозрительным, и с их точки зрения, на мне, например, лежала невидимая, но четкая мета — «брат врага народа».

Мне как-то рассказывал журналист Л. Железнов, в годы войны редактор «Фронтальной иллюстрации», как, просматривая свежий номер этой газеты, начальник Главного политуправления РККА Л. Мехлис наткнулся на мой рисунок и нахмурился.

— Ефимов? — сказал он. — Гм?.. А как он работает? Нет ли в нем червоточинки?

— По-моему, неплохо, — ответил Железнов.

— Вы считаете? — недовольно сказал Мехлис. — Гм... Посмотрим.

Нет, во мне не было ни малейшей «червоточинки» во всем, что касалось моей службы стране оружием своего искусства, патриотического долга советского художника. Но меня не мог не терзать червь лютой досады и горечи за судьбу брата. И одновременно во мне не иссякал тоненький ручеек надежды, которую питали систематически доходящие до меня всевозможные слухи о брате. Не знаю, где и почему они рождались, но их настойчивость, разнообразие и внешнее правдоподобие заставляли меня в силу какой-то внутренней психологической потребности им какое-то время верить. Да как можно было не верить, если, например, художник Михаил Храпковский, сотрудник «Крокодила», тоже в свое время осужденный, но вышедший на свободу, рассказал мне, что встретился с Кольцовым, которого он, естественно, ни с кем не мог спутать, на пересыльном этапе в Саратов. Кольцова пересылали из лагеря в Москву, и брат сказал, что ничего хорошего он от этой пересылки не ждет. Это было летом 1942 года. Позже железнодорожник Павел Голубков разыскал меня, чтобы рассказать, что он видел Кольцова возле вагона-типографии на Воркутинской железнодорожной ветке. Голубков еще задолго до войны служил курьером в редакции «Огонька» и, конечно, не мог не узнать своего редактора. Журналист Михаил Берестинский, вернувшийся из поездки в Свердловск, рассказывал, что начальник расположенных в тех краях лагерей, будучи зачем-то в редакции местной газеты, «хвалился» тем, что у него в клубе работает известный автор «Испанского дневника». Почти одновременно приходит весть с противоположного конца страны — из Соловков — о том, что Кольцов находится там и кому-то, между прочим, рассказывал в подробностях содержание романа, который он задумал и даже частично написал в заключении...

И так далее, и так далее. Я уже начал относиться к этим рассказам с известной долей скептицизма, но вместе с тем твердо верил, что Миша жив, не теряет мужества и вот-вот появится.

Вот почему я почти не удивился, когда в июне 1944 года кто-то мне сказал, что в Союзе писателей имеются какие-то интересные сведения о Кольцове, исходящие от писателя Михаила Слонимского. Слонимский мне сказал, что слышал об этом от Анны Караваевой. Караваева ответила, что ей поведал о Кольцове приехавший в Москву на совещание председатель саратовской писательской организации А. Матвеев.

Я вихрем помчался в Дом Герцена, где происходило совещание, и сразу нашел Матвеевко, представительного седеющего мужчину. От него я услышал следующее:

— Совсем недавно по делам саратовского Союза писателей я был в Куйбышеве у начальника политуправления Приволжского военного округа. Поговорили о разных вопросах, и в заключение он мне говорит: «А вы знаете, тут у нас находится один ваш собрат по перу». «Кто такой?» «Михаил Кольцов». «Что вы говорите? Какой? Тот самый?» «Да, тот самый. Который был в Испании. Наверно, читали «Испанский дневник?» «Удивительно, — говорю я, — а что он здесь делает?» «А он находится здесь, — говорит генерал, — во 2-м офицерском полку на переподготовке после ранения под Брянском. Имеет звание старшего лейтенанта. Если хотите, можете с ним поговорить». Генерал взялся за телефон, соединился с каким-то номером и велел вызвать к телефону старшего лейтенанта Кольцова. Через некоторое время он передал мне трубку. А я, знаете, не был лично знаком с вашим братом и несколько растерялся: о чем говорить? Спрашиваю: «Это товарищ Кольцов?» «Да, Кольцов». «Михаил Кольцов?» «Да, Михаил Кольцов». «Э-э... Значит, сейчас вы находитесь здесь?» «Да, как видите, здесь». «А вы... э... что-нибудь сейчас пишете?» На это он ответил что-то невнятное, и трубка была положена. Вот и все, что я могу вам рассказать.

Я выслушал Матвеевко со смешанным чувством с новой силой вспыхнувшей надежды и вместе с тем недоумения.

С одной стороны, мне представлялось маловероятным, чтобы крупный военный работник, генерал, мог без достаточных к тому оснований и соответствующих документов принять какого-нибудь случайного человека за известного всей стране журналиста, члена редколлегии «Правды», депутата Верховного Совета РСФСР и пр.

С другой — я не допускал мысли, что, находясь на свободе, Миша не дал бы о себе знать.

Тут случилось так, что в эти же дни одна знакомая журналистка собралась по командировке от своей редакции в Куйбышев. Я попросил ее выяснить на месте, насколько достоверны сведения о брате. Она вернулась в Москву с ошеломляющей информацией: во-первых, оказалось, что в редакции местной газеты «Волжская коммуна» уже давно знают о том, что знаменитый Михаил Кольцов находится в одной из воинских частей ПРИВО. Во-вторых, и это особенно важно, ей удалось встретиться и поговорить с неким подполковником Лукьяновым, командиром 2-го офицерского полка. Лукьянов, хотя и несколько туманно, подтвердил, что в его полку, в 5-м батальоне, служит старший лейтенант Кольцов. И даже спросил при этом: «А правда, что художник Борис Ефимов из «Красной звезды» его родной брат?»

У меня почти не оставалось сомнений. Однако молчание Миши представлялось непонятным, и я решил еще раз проверить факты.

О том, что было дальше, лучше всего, пожалуй, расскажут подлинные документы.

#### НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ

СВЯЗИ СССР

Фототелеграмма

Адрес: Куйбышев (Областной) Штаб ПРИВО подполковнику Лукьянову.

Уважаемый тов. Лукьянов!

Разрешите обратиться к Вам с просьбой. Я уже давно не имею известий от своего брата ст. лейт. КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича, 1898 года р. Насколько мне известно, он находился в Вашем распоряжении с августа 1943 г. по март 1944 г. в 5-м батальоне 2-го Офицерского полка запаса.

Прошу не отказать в просьбе сообщить мне, когда и куда он от Вас



убыл. Мой адрес: Москва, редакция газеты «Красная звезда», ул. Чехова, 16, Бор. Ефимову. С приветом художник Бор. Ефимов.

Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне со следующей сопроводительной запиской:

Тов. Ефимов  
Возвращаю Вашу фототелеграмму обратно и сообщаю, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету в отделе кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет.

С приветом  
Нач. экспедиции штаба ПРИВО  
ст. л-т а/с А. Капелина

Нетрудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели и рассказ Матвеевко, и разговор с «подполковником Лукьяновым» — все это плоды воображения или недоразумения? Непостижимо! Я решил предпринять еще одну попытку и обратился к милейшему Николаю Александровичу Таленскому, ответственному редактору «Красной звезды», который пошел на весьма смелый по тем временам поступок.

#### СЕКРЕТНО

2-й офицерский полк запаса  
Приволжского военного округа  
Командиру полка  
Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. по март 1944 г. проходил службу в 5-м батальоне вверенного Вам полка старший лейтенант КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович, рождения 1898 года, гор. Киев, а также куда и когда убыл.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Н. ТАЛЕНСКИЙ

Вскоре вернулся в редакцию и этот секретный пакет. К нему был прикреплен миниатюрный квадратик бумаги с лаконичным текстом: «Редакция газеты «Красная звезда». В ПРИВО такой части нет».

Странную историю со «старшим лейтенантом Кольцовым» можно было, по-видимому, считать исчерпанной.

Однако я ошибся — она получила свое не менее странное продолжение спустя почти десятилетия. В январе 1972 года я получил следующее письмо.

Художнику Б. ЕФИМОВУ  
Москва, газета «Известия»  
На днях в одной старой газете я прочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим вспомнилось прошлое.

В годы войны, будучи на военной службе в политуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экспедиции штаба ПРИВО я ознакомился с фототекстом Вашего письма, в котором Вы запрашивали о службе Вашего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я счел нецелесообразным Вас беспокоить.

В день моего дежурства в приемной начальника ПУ ПРИВО мне позвонили и сказали, чтобы я заказал пропуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать прихода известного человека.

Хочется спросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат?

Извините за беспокойство.  
С уважением

Н. Л. ИВАНОВ.

Воронеж, улица Комиссаржевской,

д. 1, кв. 65.

Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке

3 января 1972 года.

Я немедленно написал Н. Л. Иванову в Воронеж.

Уважаемый Николай Лукич!

Сведения о том, что мой брат — Михаил Кольцов — проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа я не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.

В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека».

Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождались ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли Вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате?

Буду весьма благодарен за ответ.

С товарищеским приветом

Б. ЕФИМОВ.

народный художник СССР

С понятным нетерпением стал я ждать ответа на свое письмо. С новой силой возникли во мне волнения, сомнения и надежды 30-летней давности. Мне думалось: не прошла ли тогда мимо меня редчайшая возможность найти брата, узнать о его судьбе?

Ответа долго не было. И наконец... Многоуважаемый Борис Ефимович! Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.

Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.

Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в

бышев действительно мой брат? Тайна осталась тайной.

А теперь вернемся в уже очень далекий 1954 год.

В трескучий декабрьский мороз я вышел из здания Главной военной прокуратуры на улице Кирова. В кармане у меня лежала бумага следующего содержания.

Гр-ну ЕФИМОВУ Б. Е.  
Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная коллегия Верховного суда СССР по заключению Прокуратуры СССР приговор по делу Вашего брата КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления.

За официальной справкой о прекращении дела в отношении КОЛЬЦОВА М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную коллегия Верховного суда СССР.

ЗАМ. ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ Д. ТЕРЕХОВ

Это может показаться неправдоподобным, но прошу мне поверить, что, получая эту бумагу, я не спускал

которые фальсифицировали его дело, как и многие другие дела, находясь в настоящее время под судом и понесут суровое наказание. Кстати сказать, дело вашего брата находится сейчас здесь, и, если хотите на него взглянуть, можете это сделать. Подробно читать его, сами понимаете, никак не положено.

— Хочу взглянуть, — сказал я.

Генерал нажал кнопку звонка, дал указание вошедшему помощнику, и через несколько минут на стол легли две толстые папки, перевязанные шпагатом. Я смотрел на них с ужасом. Потом раскрыл верхнюю папку и сразу увидел ордер на арест. Он был почему-то напечатан не типографским способом, а на пишущей машинке. И почему-то не внизу, где обычно подписываются бумаги, а по диагонали через весь лист тонким кроваво-красным карандашом была поставлена подпись: Берия.

Дальше я увидел в папке много-много страниц, мелко исписанных легким, изящным, до боли знакомым почерком брата. Читать я, согласно предупреждению, не стал, закрыл папку и молча, выжидающе посмотрел на председателя Военной коллегии. Он протянул мне документ о реабилитации. Мы обменялись рукопожатием.

После маленькой паузы он заговорил:

— Ну... А что касается... К великому сожалению... Вы сами понимаете... У меня вдруг сжалось сердце.

— А что, товарищ генерал? Что я должен понимать? Я ничего не понимаю.

— Ну... Должен вам сообщить... Одним словом... Вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.

Некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Я молча смотрел на Чепцова, а он на меня. В эти секунды в моей голове с какой-то непостижимой быстротой проносились все дошедшие до меня за минувшие годы вести о Кольцове. С особой четкостью всплыл в памяти рассказ художника Храпковского о встрече с братом. Я спросил тогда Храпковского: «А как выглядел Михаил Ефимович? Во что был одет?» Храпковский ответил: «О чем вы говорите... Во что одет... В помещении, где мы находились, — какой-то барак — была дикая жара, духота невыносимая, битком набито людьми. Все обливались потом, грязные, полуголые... Михаил Ефимович сказал мне: «Если увидите Бору, передайте... Передайте, что вот, встретили меня. Что я жив. Держусь. Может, еще увидимся. Хотя... все может быть...»

«Что же, — вертелось у меня в голове, — Храпковский все это выдумал? Зачем? А это был, по его словам, июль сорок второго года. Шла война. При чем же тут тридцать девятый год? И зачем бы понадобилось так спешно расстрелять только что отличившегося «дона Мигеля», которого, как сказал тогда К. Е. Ворошилов, «ценят, любят, доверяют»? Инсценировать вплоть до февраля сорокового года прием денежных передач в «Помещении № 1»? Зачем? Чтобы обмануть меня? Зачем? Нет, тут что-то не так».

Наконец я, как принято говорить, обрел дар слова.

— Нет, товарищ генерал, этого не может быть, — прбизнес я.

— Почему?

— Да прежде всего потому, что все эти годы о нем много раз доносили вести. Из разных мест, из лагерей. Его видели, с ним говорили.

— Видите ли, — мягко сказал Чепцов, — мы иногда принимаем желаемое за действительное. Вот недавно была у меня жена Косарева. Ей тоже говорили, что он жив, работает. Где-то на шахте. А между тем...

— Все это так, товарищ генерал, но все же... В тридцать девятом... Да



Открытие мемориальной доски в память М. Е. Кольцова на здании бывшего «Жургаза».

звании старшего лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Оставалось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.

Но... вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению.

В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30—40 минут, но ее содержание мне было неизвестно.

В моем личном архиве сохранился экземпляр газеты «Правда» 1934 года, посвященный полярной экспедиции «Челюскина». На страницах исторического номера газеты центрального органа нашей партии напечатан очерк М. Е. Кольцова «Секрет успеха». Прочел еще раз и снова подумал, как легко, просто и полно, задуманно написано. Ничего лишнего! А каким уважением, любовью проникнуты слова к людям подвига... Спасение челюскинцев буквально всех волновало и радовало, когда наши мужественные летчики их спасали и спасли.

И обо всем этом на страницах «Правды» художественно, правдиво и трогательно рассказывал М. Е. Кольцов. Забыть нельзя!

Что вам известно о его дальнейшей судьбе?

Извините за беспокойство.

С уважением

Н. Л. ИВАНОВ

18 марта 1972 г.

Нетрудно увидеть, что доброе, человеческое и очень просто душевно написанное письмо Николая Лукича, проникнутое истинной теплотой читательского отношения к «любимому и популярному автору», не дало все-таки ответа на главный, интересовавший меня вопрос: был ли то в Куй-

глаз с двери в глубине просторного прокурорского кабинета, почти убежденный в том, что меня ждет радостный сюрприз, что сейчас эта дверь откроется и из нее выйдет уже переведенный из дальнего лагеря в Москву брат... Однако этого не произошло. Тогда, взяв из рук прокурора бумагу и немного помедлив, я обратился к нему:

— Товарищ полковник! У нас с вами было несколько бесед в процессе ознакомления с делом Кольцова. Я ответил вам на ряд вопросов. Теперь разрешите и мне задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— А где сейчас находится мой брат?

Прокурор посмотрел куда-то в сторону и ответил:

— А это вам сообщат там, где вы будете получать официальную справку о реабилитации. В Военной коллегии.

«Видимо, таков порядок», — подумал я, поблагодарил и поднялся с места.

И вот через четырнадцать лет я в кабинете председателя Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенанта юстиции А. Чепцова. Розоволицего Василия Васильевича, который рекомендовал мне «поскорее все забыть», уже нет. Седой человек в золотых генеральских погонах любезно мне говорит:

— Собственно говоря, у вас не было необходимости специально сюда приходить — этот документ мы могли переслать вам по домашнему адресу. Но, поскольку вы уже здесь... Что я могу сказать? Вашего брата пытались изобразить агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Лица,



ведь суд-то над ним состоялся в сороковом! И приговор был: десять лет лагеря.

— А кто это вам сказал?

— Ваш, так сказать, предшественник. Ульрих.

— Ах, Ульрих,— сказал генерал с непередаваемой интонацией и махнул рукой.

Исключительно жарким выдался в столице двадцать восьмой день июня 1972 года. Старожилы, как это им и положено, не запомнили такого зноя за много лет. Все живое стремилось на теневую сторону улиц и площадей. Тем не менее большое количество людей собралось под палящим солнцем, на раскаленном асфальте возле дома № 11 по Страстному бульвару. В этом красивом зеленом особняке с прилегающим садиком много лет находилась редакция журнала «Огонек», основателем и первым редактором которого был Михаил Кольцов. Там же располагались редакции журналов «За рубежом», «За рулем», «Советская женщина», «Советское фото», многих других популярных изданий большого «Журнально-газетного объединения (ЖУРГАЗ)», также организованного и вплоть до 1938 года руководимого Кольцовым.

Органы регулирования уличного движения не сочли целесообразным перекрыть движение транспорта на столь оживленной трассе, но автомобили и троллейбусы, тихо сигналя, замедляя ход, осторожно проезжали мимо бывшего «ЖУРГАЗа».

Люди пришли сюда, откликнувшись на следующее приглашение:

Уважаемый товарищ!  
Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии мемориальной доски в память советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича КОЛЬЦОВА.

Правление Московской организации Союза журналистов СССР  
Правление Московской писательской организации СП РСФСР  
Главное управление культуры  
Исполкома Моссовета

Перед микрофоном выступали писатели, журналисты, военные, общественные деятели. В заключение слово было предоставлено члену комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию Михаила Кольцова. Это был я.

— Литературное наследие Кольцова,— сказал я,—это огромное, практически неисчислимо количество очерков, фельетонов, корреспонденций, статей, выступлений, в которых во всем своем величии встает эпоха становления и утверждения советского строя, начиная с Октября семнадцатого года. Неповторимая летопись жизни, борьбы и труда советского народа, его радостей и печалей, испытаний и подвигов.

Последней страницей творческой биографии Кольцова стала книга «Испанский дневник», которую Алексей Толстой и Александр Фадеев в совместной статье, опубликованной в «Правде» в ноябре 1938 года, за месяц до ареста ее автора, назвали «великолепной, страстной, мужественной и поэтической». Эта книга правдиво и ярко рассказала о первом военном столкновении с фашизмом, прелюдией к Великой Отечественной войне, в которой Кольцову не суждено было принять участие. Кольцов, как вы знаете, был не только талантливым писателем, но и неутомимым общественным деятелем, энергичным организатором, активным политическим и дипломатическим работником. Он все делал быстро, увлеченно, весело, не зная отдыха, не теряя ни минуты, как будто чувствуя, что ему отмерен судьбой очень короткий срок жизни.

Тридцать четыре года назад Михаил Кольцов навсегда ушел из этого дома сорокалетним. Сегодня по воле партии, по решению Московского Совета он навечно возвращается сюда в граните мемориальной доски.

# ПАРАД ЧУДЕС

Заметки с первого  
Всесоюзного фестиваля  
иллюзионного искусства

Три дня в Черноголовке, городке неподалеку от Москвы, шел этот удивительный праздник под названием «Волшебный парад». Более 200 мастеров оригинального жанра прибыли на фестиваль, чтобы показать свое умение, обменяться опытом, подумать о перспективах развития искусства фокуса.

## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ТРЮК И ОБРАЗ

В их руках предметы буквально оживали: карты летали по воздуху, разноцветные шелковые платочки превращались в белых голубей, серебряные елки появлялись прямо со страниц обыкновенного журнала «Смена», простая монета вдруг превращалась в букет цветов...

Безукоризненную технику, отточенное мастерство, легкость и изящество исполнения демонстрировали многие артисты, выходившие один за другим на сцену. И все же один момент их выступлений вызвал некоторое разочарование: трюки повторялись. Фокусники блистательно манипулировали с одними и теми же предметами (шарики, карты, кольца, платки). Но вот на сцену вышел московский артист Леонид Андрусенко, и зрительный зал мгновенно преобразился, а через несколько минут буквально бушевал от восторга.

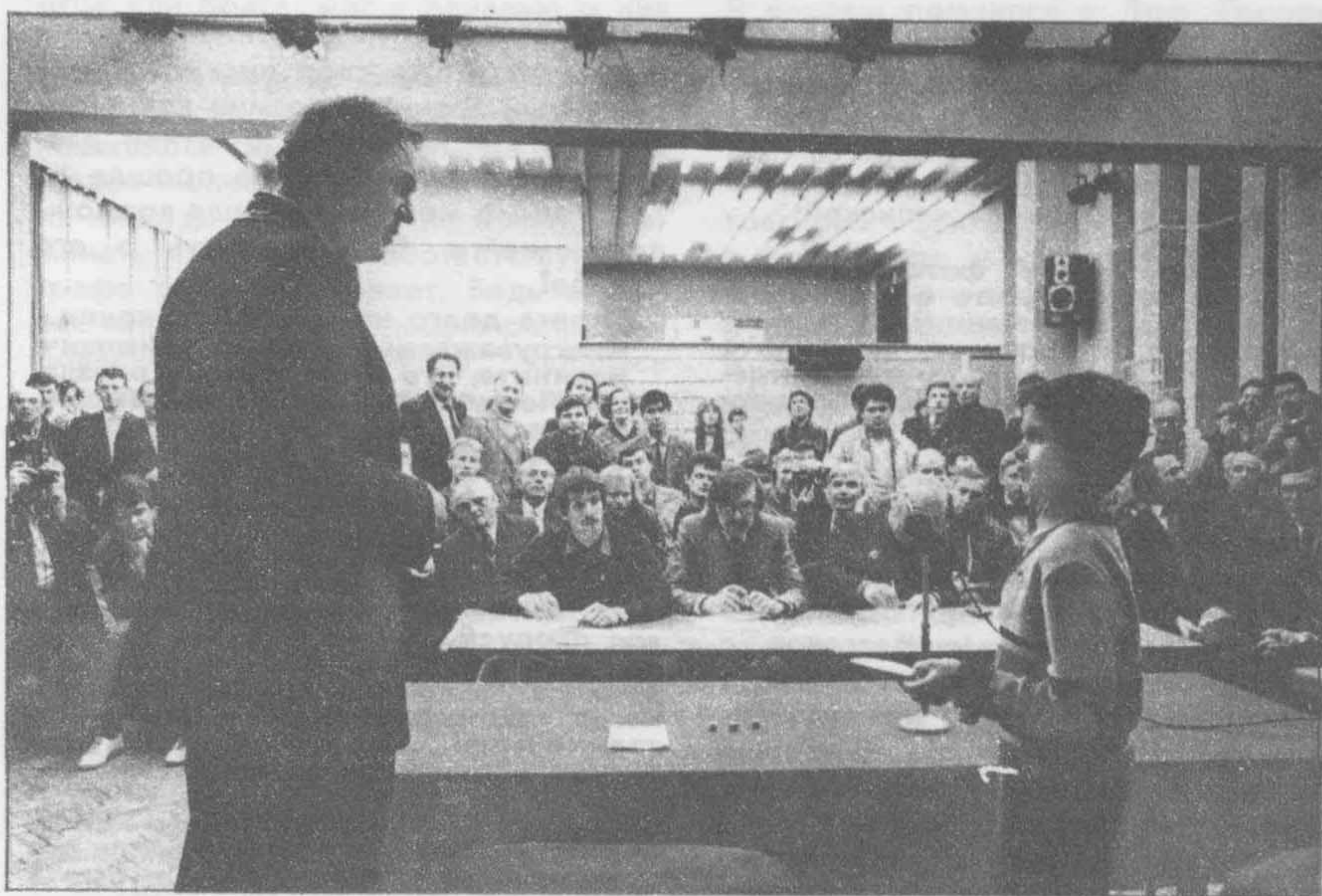
Обычно фокусник выходит на сцену элегантный, таинственно загадочный. Леонид Андрусенко выбежал в смешном наряде, пародирующем фрак. Он легко и изящно выполняет сложнейшие трюки, но каждый раз как бы иронизирует над тем, что делает. Вот, к примеру, в руках у него случайно оказывается маленькое ведерко. Зачем? Не лучше ли его выбросить? Но что за странный предмет вдруг звонко падает на дно? Монета! Одна, другая, третья... И уже монетный дождь сыплется в ведерко сначала из воздуха, потом... с голов зрителей, сидящих в зале. Фокусник искренне удивляется — откуда? А зал дружно хохочет.

Успех Леонида Андрусенко взволновал многих участников фестиваля. В горячих дискуссиях (а они шли постоянно, как шутили артисты, лишь с перерывом на концерт) формировалось новое отношение к иллюзионному искусству.

Сергей Фельдман, инженер, член Московского клуба фокусников: «Чем ныне страдает жанр? Однообразием, отсутствием режиссуры, интересных мыслей и идей. Истинный же успех там, где артисту удается найти свой образ, свою манеру на сцене».

Заслуженный артист РСФСР Константин Ширкевич (Свердловск): «Придумать новый фокус, конечно, не просто. Но что интереснее: сам трюк или артист, который «держит фокус»? Я думаю, второе, а потому больше всего ценю артистичность, оригинальность, любовь и уважение к зрителю».

Обсуждая концертную программу первого дня, участники фестиваля были единодушны в одном: голый техникой ныне никого не удивит — искусству фокуса требуются свои режиссеры, сценаристы, творческие мастерские, которых ныне пока нет. И несбыточной мечтой звучала мысль о создании театра иллюзионного искусства...



## ДЕНЬ ВТОРОЙ: МИСС МАГИЯ СТАВИТ ПРОБЛЕМЫ

Международные конкурсы микромагии транслируются по телевидению, во многих европейских странах существуют кафе, клубы, где артисты развлекают посетителей демонстрацией различных фокусов. Жанр привлекает многих своими «неограниченными возможностями». Я, например, видела уникальный трюк (один из пяти зарегистрированных как изобретение) вице-президента Московского клуба фокусников, кандидата технических наук А. Карташкина. Он, кстати, возглавлял на фестивале жюри.

Небольшой плоский предмет. Рама, скользящий нож (я потрогала пальцем — остро!), два отверстия. Какая-то миниатюрная гильотина. «Для любителей острых ощущений», — сказал Анатолий Сергеевич и предложил мне устроить палец в отверстие, что повыше, а туда, где пониже, вставил сигарету. И вдруг я увидела, как он поднял руку и со всего размаху стукнул кулаком по ножу. Половинки сигареты разлетелись в стороны. А мой палец? Ну, конечно, он цел и невредим!

— Чудеса! — облегченно вздохнула я.

— Чудесами мы называем то, что не можем объяснить, — сказал Карташкин. — А в нашей работе это в принципе доведенная до совершенства технология. Надеюсь, предстоящий конкурс подтвердит мою мысль.

Председатель жюри оказался прав. Невозможно перечислить все «чудеса», которые демонстрировали их создатели. Равными соперниками взрослым (конкурс проходил по двум возрастным категориям) выступали дети. Всех очаровала московская школьница Катя Медведева. Она стала не только победительницей конкурса, но и была удостоена звания «Мисс Магия» фестиваля. Первое место по праву разделил с Катей юный фокусник из Черноголовки Алеша Юхвид.

Победителями конкурса среди взрослых стали московский художник С. Волков и артист из Казани Р. Ачубаков. Номер Сергея Волкова с пиалами и шариками привлекал не только чистотой исполнения, но и продуманной оригинальной драматургией. Немало новых приемов в манипуляциях с картами почерпнули для себя участники фестиваля в выступлении Рената Ачубакова.

К сожалению, многие участники фестиваля оказались на конкурсе, как, впрочем, и в концертной программе, только зрителями. Нечего было показать? Нет, причина иная. Для истинных профессионалов не существует тайн в мире магии, любой трюк они могут разгадать. Новый же фокус порой создается годами. Яркий пример тому — работа заслужен-

ного артиста РСФСР Константина Ширкевича. Около 30 лет готовил он уникальный, длящийся всего четыре минуты номер с будильниками: увесистые металлические часы появляются в его руках из маленького газового платочка, из шелкового шарфа на шее, а затем, подвешенные на тонкой пластине, от легкого взмаха внезапно исчезают, превращаясь в шелковый платок...

Номер Ширкевича пока неповторим. Но, увы, случается — и нередко: один фокусник изобрел трюк, другой его идею позаимствовал. А авторство доказать невозможно. Есть ли выход? Нужна четко разработанная система патентов — единодушно высказанная всеми участниками фестиваля мысль.

Проблем, как выявили действовавшие на фестивале семинары по иллюзионному искусству, у современных магов предостаточно.

## ДЕНЬ ТРЕТИЙ: КОГДА АПЛОДИРУЮТ ФОКУСНИКИ

Его выступления с нетерпением ожидали и зрители, и сами артисты. Ведь автор и исполнитель программы психологических опытов «Твои возможности, человек» артист из Николаева Альберт Игнатенко — действительный член общества психологов СССР при президиуме Академии наук СССР. Значит, сцена и наука?

Сколько цифр мы можем запомнить с ходу? Проверьте себя — в лучшем случае до восьми. Игнатенко запоминает ряд до 100 цифр и более. Он извлекает из «кладовой памяти» любой день недели за последние 10 тысяч лет. Приоткрывая дверь в неизвестное, психологические опыты Игнатенко как бы раздвигают границы возможностей человека — ведь многое из того, что демонстрирует артист, достигнуто упорным трудом. Вторая часть его программы раскрывает возможности суггестии — внушения без гипноза. Участники опытов становятся то космонавтами (и мы искренне завидуем увиденному ими), то жокеями на ипподроме (победители затем подробно описывают полученные ими призы), то кинозрителями (от души веселятся, просматривая сцены из мультфильма «Ну, погоди!»). И в то же время участники опытов не спят, они все видят и все слышат. Альберт Игнатенко ведет свою программу легко, без видимого напряжения (чем порой грешат исполнители психологических опытов) и, что чрезвычайно важно, на мой взгляд, корректно и уважительно к своим добровольным помощникам.

— Что вы думаете о фокусах? — обратилась я к зрителям после заключительного концерта фестиваля.

И вот что услышала в ответ:

— Волшебство, устремленное в будущее.

Стелла ЯМОНТ,  
фото Игоря ФЛИСА





## ПОЧЕМУ ПЕРВЫМИ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ГОВОРЯТ ЖУРНАЛИСТЫ?

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ГЛАСНОСТИ

### МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ ПРАВДУ О ПРОШЛОМ

### КАК Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОДПИСКИ НА «ОГОНЕК»

### ЖУРНАЛУ ОТВЕЧАЕТ МИНИСТР

Несколько слов по поводу интервью с Чингизом Айтматовым «Цена прозрения» в № 28. Принципиально не могу согласиться с позицией уважаемого мной писателя. Это не прозрение, это — освобождение общества, запертого в отвратительной атмосфере бюрократии, пустозвонства, низкой производительности, искажения ценностей, взяточничества и неправды. Словно открыли окна и двери и ворвался свет и чистый воздух. Все всё видели и понимали раньше; видели, ждали, надеялись.

Ясно помню начало шестидесятых годов, ведь был же тогда в стране всплеск энтузиазма, взлет творческой активности. В то время у нас, конструкторов, была убежденность, что еще немного и мы в техническом отношении настигнем Запад. При взятых темпах это было вполне реально. Но заворочалась бюрократическая машина, расцвела демагогия, творчество было практически девальвировано, и в результате мы за двадцать лет отстали в лучшем случае на десять лет.

Для того, чтобы нынешняя перестройка состоялась, необходимо новый стиль жизни и работы организовывать и внедрять законодательно. Перестройка и гласность требуют определенных юридических гарантий, на страже их должен стоять закон.

**Б. В. ГРИГОРЬЕВ, конструктор**

Ленинград

Читаю статью о докторе Касьяне и вспоминаю аналогичные публикации о докторе Илизарове, — как преследовали его, замалчивали успехи и достижения, как называли презрительно шарлатаном и знахарем. Отчего возможно такое в нашем социалистическом обществе? Почему десятилетиями выдающиеся изобретатели не могут пробить и внедрить свои работы? Почему талантливые врачи, воистину народные целители, вынуждены испытывать лишения и унижения только для того, чтобы облегчить участь больного? Почему многие их коллеги достигают «сияющих вершин» без забот и труда, ничего не принося взамен человечеству? И еще одно — почему первыми о вопиющих случаях социальной несправедливости начинают говорить журналисты? А почему не советские или профсоюзные работники, чей прямой долг отстаивать интересы народа, защищать честь и заслуги его ярких, одаренных личностей?

Хотелось бы проникнуть во внутренний мир зажимщика, облеченного званием и должностями, проследить ход его мыслей, направленных на дискредитацию ученого, практика, изобретателя. Как же добиться такого положения, чтобы в наше время это было невозможно? Вряд ли все пройдет само по себе, по мере формирования нового мышления. Только гласность обеспечит таланту плодотворную деятельность для народа.

Почему бы не назвать на всю страну имя того врача-нейрохирурга, который презрительно назвал Касьяна шарлатаном? Или имена высокопоставленных больных, которые лечились у него, соблюдая, однако, правила строжайшей конспирации? А ведь могли явиться открыто и принять срочные меры для того, чтобы народный доктор мог с полной отдачей, спокойно исцелять страдающих.

Такое замалчивание поощряет иных деятелей к травле людей, нужных и полезных обществу, но не защищенных от наглости и пробивной силы.

**А. С. ГИНЕСИН,**  
главный диспетчер треста  
«Уренгойгазпромстрой»

Новый Уренгой

Прочел в № 31 письмо В. Русских, но так и не уяснил себе, почему не устраивает автора сегодняшний «Огонек», что именно ему стало так неинтересно в нем. И в чем должен быть журнал «лучше»? Что означает «работать по-людски»? Кроме голословного отрицания, в письме не содержится никаких конструктивных предложений.

Правда, имеется призыв вернуться к тому, «как работали раньше», то есть в то застойное болото, когда почти все наши литературно-художественные журналы были ни рыба, ни мясо, не имели своего лица.

Видимо, Русских не вполне еще осознал, в какое время он живет и что происходит в нашей стране. Хуже, если такие, как он, располагают хоть какой-нибудь реальной властью, тогда они будут существенно тормозить движение общества вперед, тормозить перестройку и неотъемлемо связанные с ней процессы расширения демократии.

Не выйдет! Советские люди не позволят повернуть развитие нашего общества вспять.

Меня больше всего интересуют материалы о перестройке, международные дела. Редакция все шире затрагивает ранее запретные темы, вторгается в запретные прежде «зоны». И тут еще работы непочатый край.

Твердо уверен, что если журнал будет и дальше смело расширять поле своей деятельности, ему обеспечены новые миллионы читателей, а нашей перестройке — ускорение.

**Г. С. БЕЛЬСКИЙ,**  
ветеран войны и труда

Внуково

Почти восемнадцать лет назад, осенью 1969 года, я отказался от подписки на журнал «Огонек» — вложил в конверт квитанцию и отправил ее в редакцию. Гнев мой был вызван публикацией статьи против «Нового мира» и глубокого моего мною А. Т. Твардовского.

К сожалению, я поздно узнал о недавней смене главного редактора. И несколько месяцев поднимался в субботу в шесть утра, чтобы не пропустить в киоске ваш журнал. Распродают его мгновенно. Сейчас я вновь подписался на «Огонек».

После публикации статьи В. Поликарпова ко мне на работе подходили многие сотрудники с вопросами о Ф. Ф. Раскольникове и других героях гражданской войны. Для них письмо Раскольникова — откровение, уничтожение Сталиным перед войной командных кадров Красной Армии — страшное открытие. Я же полагаю, что они обязаны это знать, а мы, старшее поколение, и вы — журналисты — обязаны донести это до миллионов. Только так может быть создана гарантия от повторения разгула беззакония и надругательства над личностью.

Работая над историей Красной Армии (в 1974 году вышла моя книга «Реввоенсоветы в 1918—1919 годах», а в 1985-м — написанная совместно с профессором МГУ В. П. Портновым книга «Правовые основы строительства Красной Армии. 1918—1920 годы») и имея в свое время доступ к архивам и материалам о реабилитации, я мог убедиться, какая печальная судьба постигла старших командиров, командующих и членов Реввоенсоветов — верных ленинцев, в первую очередь тех, кто в годы гражданской войны имел какие-либо контакты со Сталиным, знал правду о его «военной деятельности» и вообще правду о гражданской войне, историю которой извращали и, к сожалению, нередко извращают и по сей день.

**М. М. СЛАВИН, заслуженный юрист РСФСР,**  
инвалид Великой Отечественной войны

Москва

О культе личности Сталина высказывают мнение ученые, историки, писатели, фронтовики. Суждения этих людей обычно основаны на знании документов, фактов или на жизненном опыте. Они могут быть противоположными, но всегда имеют основу. Молодое поколение, к которому я отно-

шусь — родился в 1952 году, — лишено этого. У многих моих сверстников на этот счет нет мнения, поскольку мысли, основанные на незнании или неполном знании, нельзя считать мнением. Спорить с ними невозможно — до того живучи догмы о Сталине, даже сейчас. Так долго замалчивались подлинные события времен культа личности, что не все знают истинные размеры репрессий, обрушившихся на коммунистов ленинской гвардии. И все же не могу не удивляться, когда вижу портрет Сталина на ветровом стекле автомобиля. Еще больше меня поражает, когда подобным образом поступают люди пожилые, ведь они-то должны знать о том времени, хотя бы по материалам XX съезда КПСС 1956 года и XXII съезда 1961 года. Когда заходит разговор на эту тему, чаще всего слышишь такие доводы, которые можно объяснить только полным отсутствием информации. Обычно говорят: «Он слишком доверял Берии» (про Ягоду и Ежова часто даже не слышали), «Сложное время — иначе было нельзя», «Сталин выиграл войну». Или: «Сейчас столько безобразий — жаль, Сталина на них нет».

Осмелюсь сделать вывод, что нельзя далее замалчивать вопиющие стороны деятельности Сталина. Преступления перед народом ничем нельзя оправдать. Такой «стиль руководства», в результате которого страна понесла неисчислимые жертвы, заслуживает по законам социалистической морали высшей меры осуждения. Ибо не построить счастье народа на костях его лучших представителей. А тот довод, что с именем Сталина шли в бой, служит не оправданием, а обвинением, поскольку он предал безграничную веру людей в него.

Для создания объективного общественного мнения предлагаю предпринять издание, в которое бы вошли сведения о тех, кто был репрессирован, — с фотографиями и хотя бы краткими биографическими данными. Надо публично восстанавливать добрые имена.

**Н. Н. МОЧАЛОВ, наладчик**

Городец,  
Горьковская область

До глубины души возмущены письмом М. Игоревы из г. Иваново о СПИДе, опубликованном в № 30. Автор письма говорит о порядочности, но нам кажется, что именно порядочный человек не может желать смерти миллионам людей. Странно видеть в нашем обществе человека, радующегося миллионам человеческих трагедий, не только настоящих, но и будущих. Постановка вопроса: СПИД хорош тем, что уничтожает наркоманов и других «подонков общества», — неверна в корне. Даже, если бы СПИДу были подвержены только эти слои, и то необходимо было бы бороться с болезнью самыми энергичными мерами. А ведь среди заболевших есть дети.

Следуя логике М. Игоревы, нужно прекратить лечить людей и от дизентерии — станут чаще мыть руки, и от гриппа — чтобы закалялись. Откуда же берется подобная психология, откуда такая злоба и сознание собственного превосходства?

Не следствие ли это запоздалого, начинающегося, по существу, только сейчас воспитания нравственности?

**ЗЫКОВ и другие военнослужащие**  
срочной службы

Балтийский флот

В заметке «Разрешите обратиться!» в № 21 совершенно справедливо говорится о надуманных препятствиях в работе прессы. Данная публикация обсуждена на производственном совещании с участием членов Коллегии и руководителей всех подразделений аппарата Министерства торговли СССР. Начальнику Управления общественного питания тов. Соболевой З. Т. указано на необоснованность ее отказа от встречи с корреспондентом по вопросам, находящимся в ее компетенции, под предлогом необходимости получения разрешения руководства.

Учитывая, что тов. Соболева З. Т. осознала неправомерность своего поступка, решено ограничиться обсуждением. Обращено внимание работников аппарата министерства на недопустимость подобных фактов.

**К. З. ТЕРЕХ,**  
министр торговли СССР



# СКОРО В ОГОНЬКЕ.

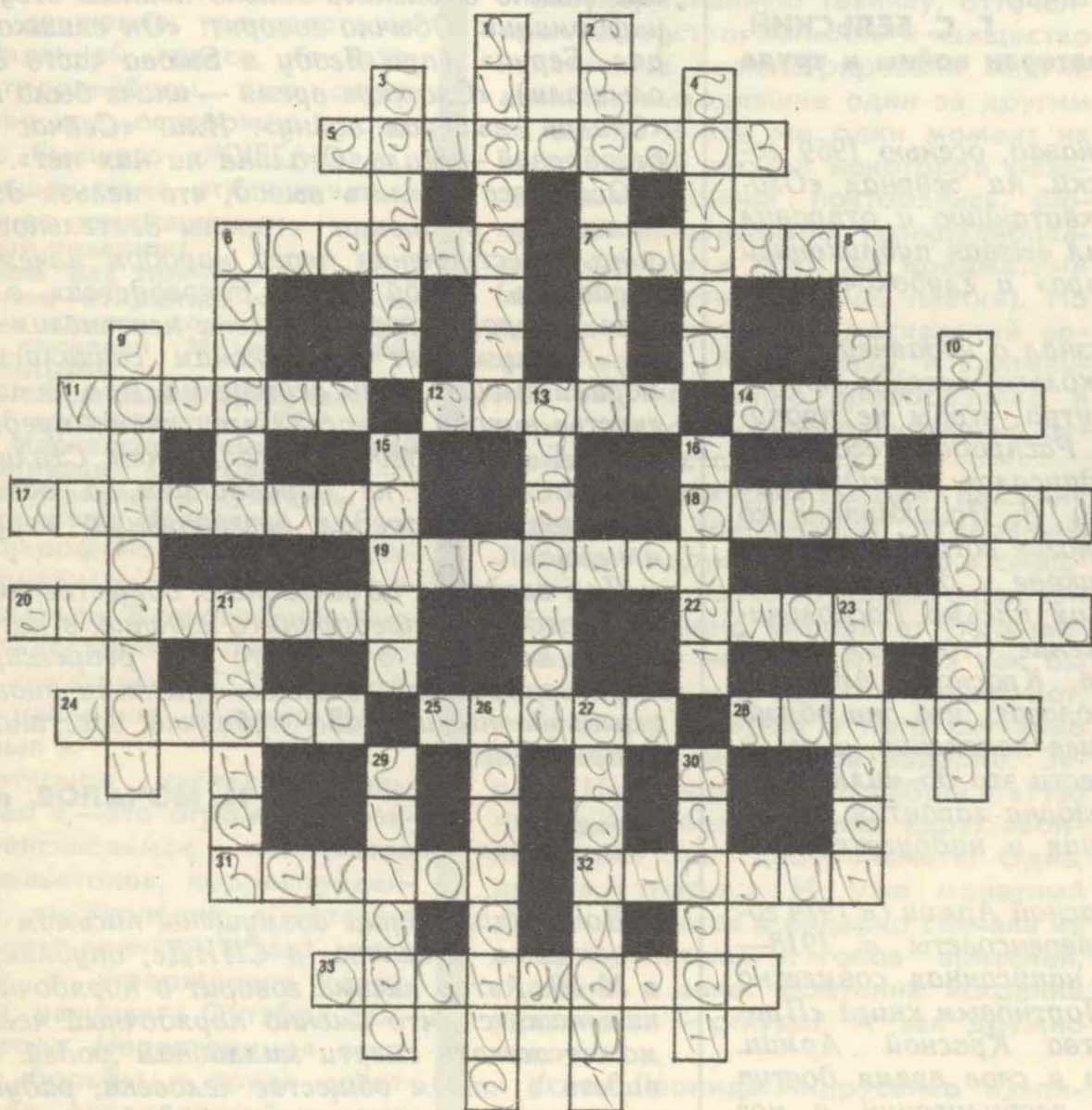


## «КИТАЙСКАЯ СПЕЦИФИКА»

«...В китайскую специфику входит удивительная прилежность в труде, хирургическая чистота в жилье и возле жилья, умение получить с земли достойное вознаграждение за труд. К непривычной для нас специфике относится тот факт, что каждый пятый китаец неграмотен, что медицинская помощь несовершенна и по преимуществу платная, хоть часть расходов покрывает страховой фонд. Ко многому здесь надо привыкнуть, и ничего не следует машинально измерять на свой аршин».

Путевые заметки и фото наших специальных корреспондентов Виталия Коротича и Дмитрия Бальтерманца, вернувшихся недавно из КНР, вы сможете прочитать и увидеть в следующем номере журнала.

## КРОССВОРД



**По горизонтали:** 5. Русский писатель и дипломат. 6. Французский композитор, автор лирических опер. 7. Дикая водоплавающая птица. 11. Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. 12. Приток Белого Нила. 14. Глава дипломатического корпуса. 17. Раздел механики. 18. Итальянский композитор, скрипач, дирижер. 19. Горная система на юго-западе Европы. 20. Разновидность импровизации. 22. Охотничья собака. 24. Советский ученый, один из первых изобретателей ракетной техники. 25. Бальный танец. 28. Шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира. 31. Отрезок определенной длины и направления. 32. Летчик-испытатель, Герой Советского Союза. 33. Теплица.

**По вертикали:** 1. Литературный текст оперы. 2. Баллада В. А. Жуковского. 3. Гимнастический снаряд. 4. Порода служебных собак. 6. Трагедия Шекспира. 8. Река в Восточной Сибири. 9. Пушной зверек. 10. Круглая надстройка над зданием. 13. Картина И. И. Шишкина. 15. Русская народная игра с мячом. 16. Современный бальный танец. 21. Один из руководителей партизанского движения в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза. 23. Норвежский исследователь Арктики. 26. Выделение единицы речи изменением голосового тона. 27. Столица социалистической республики. 29. Струнный музыкальный инструмент. 30. Один из Малых Зондских островов в Индонезии.

### ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 33

**По горизонтали:** 7. Кантеле. 8. Дневник. 9. Ихтиолог. 11. Габардин. 12. Караул. 13. Тагор. 15. Судец. 16. Рукавишников. 17. Гармонизация. 19. Штифт. 20. Ягуар. 22. Оттиск. 24. Кориандр. 25. «Крепость». 26. Скрипка. 27. Лугинин.

**По вертикали:** 1. Бархат. 2. Стрингер. 3. Белок. 4. Идеал. 5. Свиридов. 6. Сириец. 10. Гальванометр. 11. Гусиноозерск. 14. Ректорат. 15. Секреция. 17. Глициния. 18. Якубович. 19. Шпонка. 21. Ратмир. 22. Одеон. 23. Крыло.



# ВОЗДУ

**С**олнце сияло праздник. Погода помогала — расцветали в небе парашюты, летали стрижами планеры, стрекозами — вертолеты...

Но чей же все-таки праздник — День Воздушного Флота СССР? Отважных спортсменов, которые вертят машинами, казалось бы, всякой механике вопреки? Или тех, кто создал всю эту чудо-технику? А быть может, его хозяева те, кто ежедневно, еженощно летит в салонах по сотням воздушных трасс?







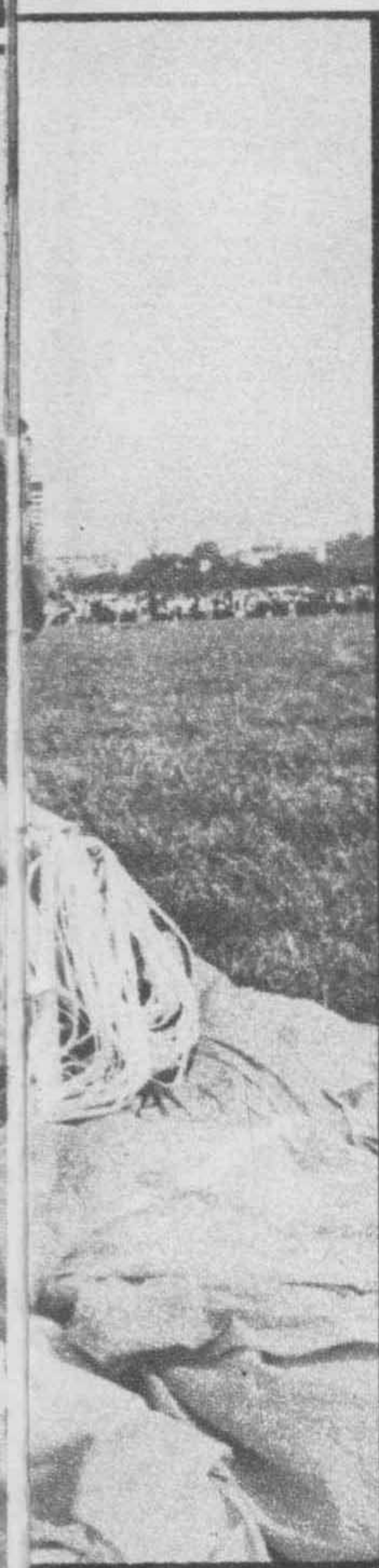
Пожалуй, он все-таки общий. Мы соскучились по нему, по этому воздушному торжеству на склоне лета. Она всегда была приметой августа — воздушная феерия в тушинском небе... Самолеты то в хороводе, то в четком строю, то солируют в высоком пилотаже, вызывая в памяти полузабытые слова, которыми бредили мальчишки далеких тридцатых: «бочка», «горка», «мертвая петля»... Впрочем, многим из них пришлось в сороковых

связать с ними свою жизнь. И свою гибель в горящем небе...

И не потому ли, стоя на зеленом поле, мы испытываем ностальгию по далеким временам, ностальгию по несостоявшейся мечте — не в твоих руках штурвал, не в твоих. Но и ты не лишен неба. И даже знаешь, что лететь на восток быстрее, чем на запад. И привычка переводить стрелки на московское время сохраняется у всех, кто в дружбе с «Аэрофлотом». Потому что летают са-

молеты по московскому времени. А в день праздника, можно добавить, — и по тушинскому. Ведь с этого зеленого поля взлетали когда-то самолеты, демонстрируя наши достижения в авиации. И ставили рекорды асы, имена которых ныне легендарны. Впрочем, и наши современники — мастера хоть куда. Тем-то и дорог нам вернувшийся праздник.

Борис РЯЗАНЦЕВ,  
Дмитрий ДЕБАБОВ (фото)







- В центре Белграда.
- Летняя мода.
- Велик спрос на местное рукоделие.
- Адриатика. Под парусом.

[см. в номере очерк «Индустрия и философия туризма»].



**ОГОНЁК**

ISSN 0131—0097  
Цена номера 40 коп.  
Индекс 70663